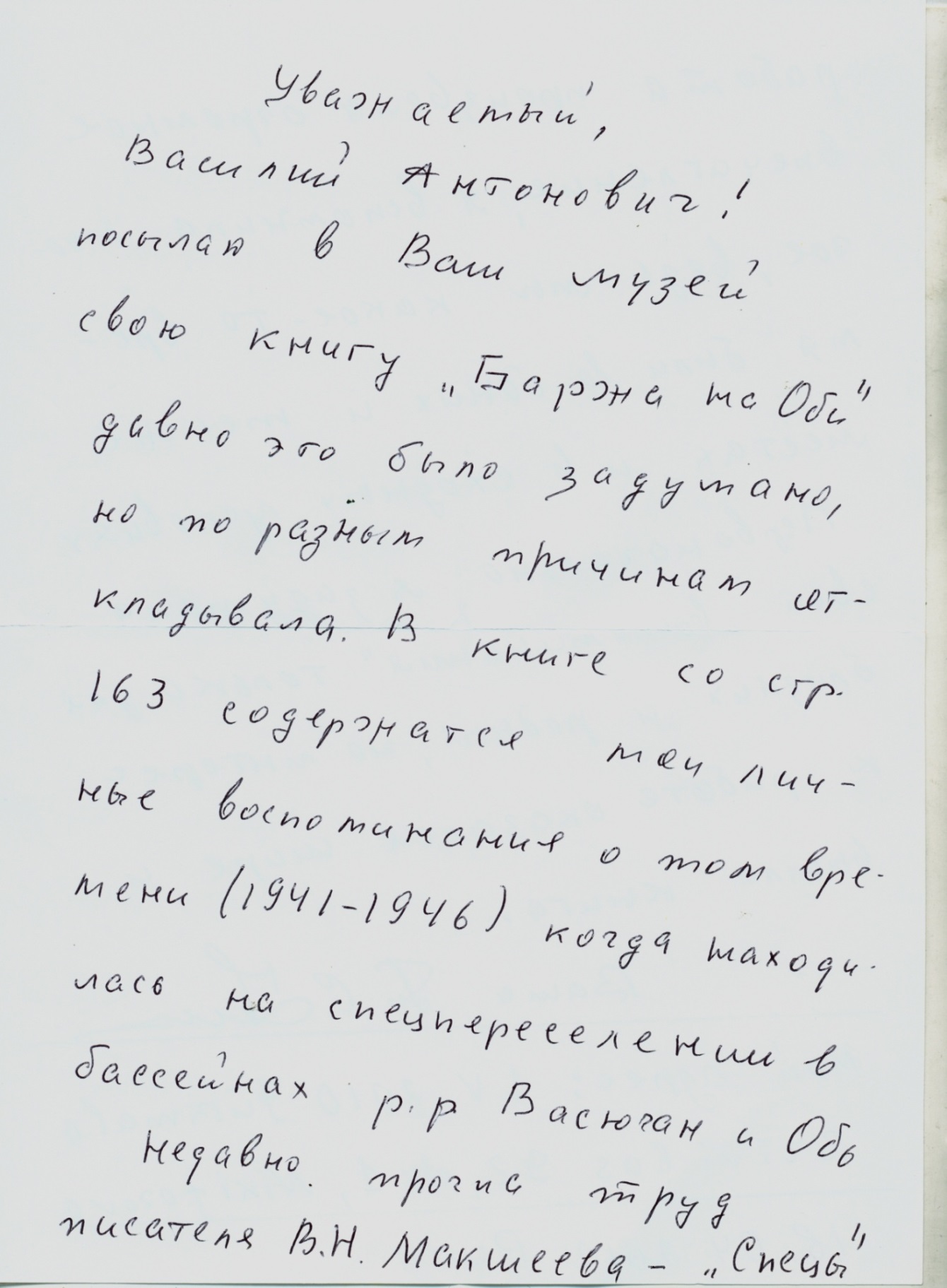
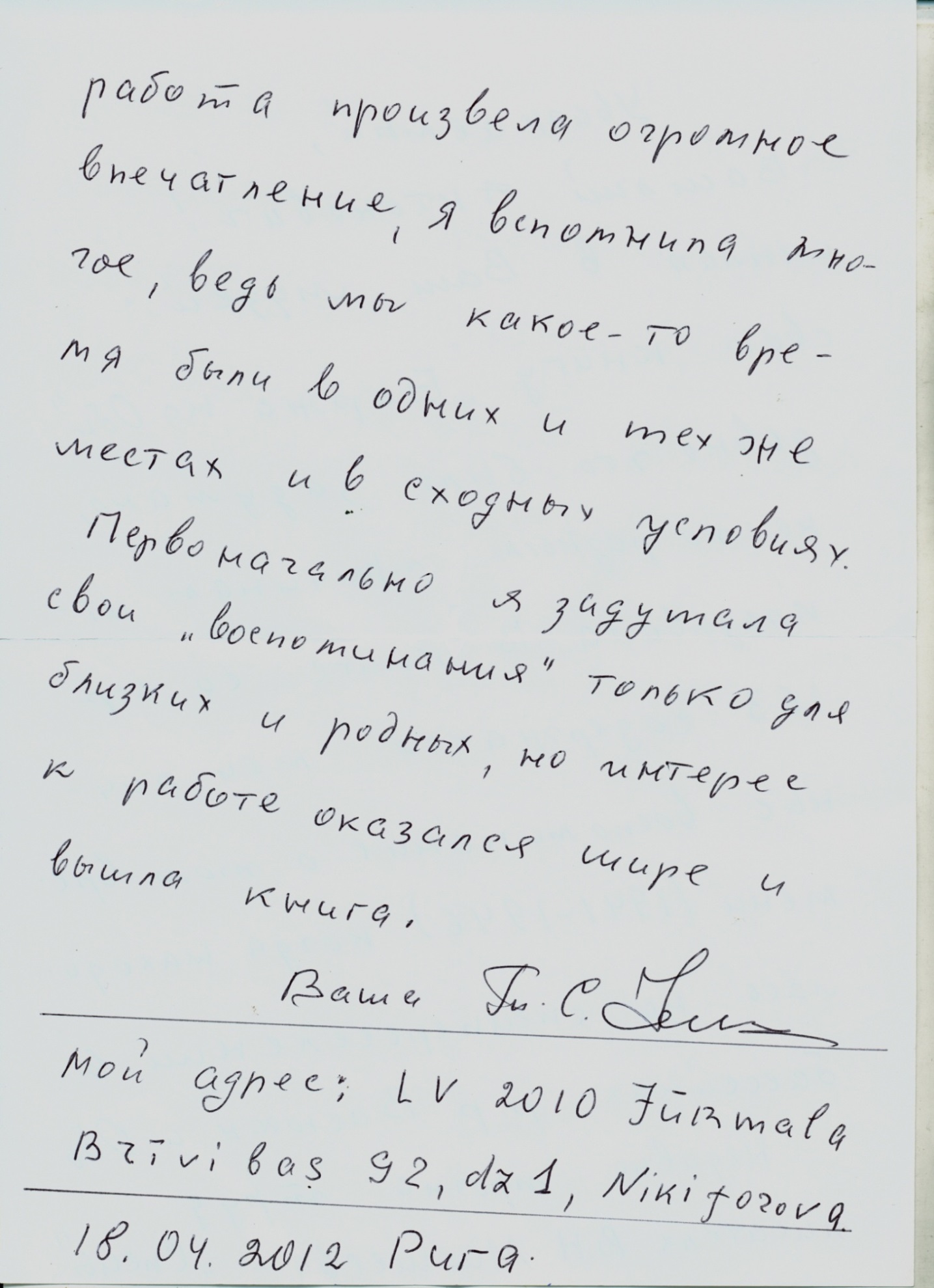
**Баржа на Оби.**

**Т.С. Никифорова.**





## [Описание: Тамара Никифорова](http://www.russkije.lv/media/original/t/Tamara-Nikiforova.jpg)Описание: баржа на Оби - barja-na-obiОписание: nikiforovy_repressirovannye

Начало формы

**Тамара Стахиевна Никифорова (12 авг. 1928 г, Рига - 24 окт. 2015г, Рига)**

### ЭШЕЛОН

***Мысли с рыданьями ветра сплетаются,***

***С шумом колес однотонным сливаются,***

***И безнадежно звучит и стучит это:***

***Ти-та-та... та-та-та... та-та-та... ти-та-та...***

***Максимилиан Волошин. «В вагоне»***

… Первое время поезд шел как-то неуверенно, часто и иногда надолго останавливался. Потом, как человек, вставший после долгого сидения и, наконец, размявший ноги, пошел побойчее. Товарный вагон, в котором мы ехали, конечно, ни рессор, ни амортизаторов, обычных на вагонах пассажирских, не имел, и поэтому его бросало из стороны в сторону, он подпрыгивал, шатался, скрипел и грохотал. Привыкнуть к такому дискомфорту было трудно. Но мое «спальное» местечко находилось как раз возле окошка, и через его решетку я могла видеть многое — железнодорожные станции, переезды, хутора и поселки, поля и леса. И людей, которые занимались своими повседневными делами, оставаясь свободными. И много военных. Тогда я еще не могла знать, что вот-вот сюда, на эти мирные поля, эти тихие поселки придет война. Вот проскочили станции — Огре, Плявиняс… На повороте увидела, что тянули нас аж два паровоза, а вагонов я насчитала около пятидесяти. Значит, прикинула я, в них около полутора тысяч человек.

К вечеру эшелон подошел к Даугавпилсу (Двинску). Была остановка и долгое маневрирование, возможно, что к составу прицепляли еще несколько вагонов. Все «пассажиры» нашего вагона за двое бессонных суток, да еще без питья и еды, так обессилели, что когда поезд отошел от Двинска, молча улеглись по нарам и под стук и грохот колес забылись в тревожном полусне. Ночью состав пересек бывшую границу Латвии и СССР и на рассвете остановился на станции Полоцк. Проснулись мы от визга открываемой двери и громкого выкрика конвоира: «Двое выходи за едой!» Коля Казацкий и еще кто-то из мужчин быстро собрались, спустились на платформу и в сопровождении вооруженного охранника отправились за едой и водой. В вагоне все уже проснулись. Я выглянула в окошко. В сумерках за дорогой виднелись почерневшие от времени двухэтажные дома, они показались мне очень мрачными. Своими мыслями я поделилась с мамой, она ответила, что в городах провинциальной России все жилые постройки такие.

Прошло более часа, когда, наконец, Коля и его спутник вернулись, нагруженные четырьмя ведрами и мешком с хлебом. Одно ведро оказалось наполненным супом с вермишелью, другое на одну треть содержало в себе все ту же вермишель, а поверх нее лежали две огромные котлеты. В третьем и четвертом ведрах была вода — кипяченая и холодная. Хлеб был только черный, в виде непривычных для рижан кирпичей. Кушать пришлось около пяти часов утра, пока еда не остыла. По всеобщему согласию, решено было отдать котлеты детям. Мама достала нашу единственную алюминиевую мисочку, наполнила ее супом и заставила нас с Ириной его съесть. «Надо, — жестко сказала она, — хоть через силу, а ешьте, неизвестно, когда еще еду принесут…» Когда суп нами с трудом (кто же ест в пять часов утра!), но все же съеден, мама положила нам «второе»: вареную вермишель, на которую положила кусочек котлеты. Пробую — никаких вкусовых ощущений — сплошная соль. Такое есть трудно даже после двухсуточного голодания. Впрочем, и эти котлеты оказались последними — за всю дорогу, которая длилась для нас более месяца, нам больше ни разу не давали ничего мясного. После окончания коллективной «трапезы» уже ставший незаменимым Коля Казацкий собрал пустые ведра, оставив лишь одно — с водой, и в сопровождении того же охранника отнес их в вокзальную столовую.

В Полоцке эшелон стоял долго. Хмурое утро сменилось таким же неприветливым днем. Я снова забралась на нары и попыталась уснуть, но в голову лезли тревожные мысли: куда нас везут, что будет с нами дальше. Увы, ответа я не находила. Прошло еще какое-то время, состав задергался и тронулся, постепенно набирая скорость. От Полоцка нас повезли на север, мимо станции Дретунь к Невелю, и уже в середине дня мы остановились в Великих Луках. О городе и вокзале никаких воспоминаний не осталось, запомнился лишь привокзальный рыночек под навесом. Точно не помню, но кажется, что женщинам, торговавшим на рынке, разрешили подойти к вагонам с молоком и вареным картофелем — в вагонах было много детей, даже совсем маленьких.

У Коли Казацкого оказалась с собой географическая карта, и, начиная с Великих Лук, мы начали отслеживать маршрут нашего поезда. От мысли, что будем проезжать Москву, где можно было бы броситься в поиски правды, пришлось отказаться, столица осталась южнее. Под стук и грохот колес наш путь шел в направлении на восток, все дальше унося нас от родного дома. За окном мелькали станции, на некоторых были недолгие остановки для заполнения водой паровозных котлов — Торопец, Андриаполь, Охват, Осташков, Фирово, Куженкино, Бологое, Мста, Удемля, Малышево, Бежецк, Сонково и так далее…

Как-то вечером, кажется, это было 20 июня, поезд остановился на станции Волга. Эти места были хорошо знакомы нашей маме — В Первую мировую войну, во время немецкого наступления на Ригу, она находилась в эвакуации в Кашине. Наш вагон оказался у главной платформы вокзала, на которой собралось большая группа женщин, все почему-то в красных косынках. Они с любопытством и участием смотрели на нас и потихоньку, с оглядкой, отвечали на наши вопросы. От них мы узнали, что наш эшелон за этот день уже четвертый. «И куда же это вас всех везут? Боже, Боже, что ж это делается!?» — воскликнула с ужасом одна из них. Мама спросила, почему они все в одинаковых красных косынках. Оказывается, что в их магазине «выбросили» красный ситец, из которого все, кому удалось его «достать», пошили себе косынки. Одежда на всех женщинах очень скромная, в основном ситец, но чистая и аккуратная. Поезд трогается и направляется к Рыбинску, городу, в котором мама тоже бывала в молодости.

Каждому вагону нашего эшелона энкаведешники присвоили номер, и дальнейшее обращение к нам осуществлялось только по номеру, например, на остановках раздавалось: «Номер такой-то, получать еду, воду!» и т. п. А еды с каждым днем давали все меньше и меньше, да и реже. Кормили один раз в сутки, и всегда ночью или на рассвете. Уже на весь вагон приносили лишь четверть ведра вермишелевого варева и чего-то еще непонятного чуть-чуть. Пока хватало лишь черного хлеба в виде липких серых кирпичей да воды в ведрах. Хлеб этот вызывал изжогу, но и ему приходилось радоваться — другого ничего не было. Даже мой молодой желудок не хотел принимать эту пищу, а что говорить о стариках или совсем маленьких детях?

В вагоне стояла жуткая жара, дышать было нечем, из отхожего места шли тяжелые запахи, убрать грязь из вагона было непросто. Вагон мотало во все стороны, страшно трясло, тело покрылось синяками от ушибов. Постепенно наваливалось какое-то всеобщее отупение, равнодушие, люди начали терять чувство реальности, многим становилось безразлично, что с ними стало и что будет в дальнейшем. А люди в вагоне оказались очень разные и по-своему достаточно интересные. Попробую вспомнить некоторых из них.

Прямо подо мной на нижних нарах, рядом с нашей бабушкой расположились Нина Николаевна Казацкая (1894—1945) с сыном Николаем (1916—1942). Нина Николаевна была давней знакомой моей мамы. Вместе с мужем Мойшей Давыдовичем (1886—?) она содержала в Риге мануфактурный магазин. Их сын Николай учился живописи у известного художника С. А. Виноградова и подавал большие надежды, неоднократно и успешно представляя свои работы на выставках. На всем протяжении нашего нелегкого пути Коля добровольно взял на себя обязанности опекать всех, ходил за едой и водой, узнавал и сообщал последние новости с воли. Справа от нас на верхних нарах расположилась семья Симанис: мама Наталья (1903—1942), которую неоднократно мучили сердечные приступы, и ее дочери — Эдите (1928), Айя (1936—1942) и Сильвия (1938 г. р.). Наталья и Айя уже в ссылке, в тяжелую зиму 1942 года не выдержали страшного голода и погибли. Эдите и Сильвия после смерти мамы и сестры оказались вместе с нами в детском доме поселка Айполово и летом 1946 года вернулись в Ригу.

Примечательна судьба нашей попутчицы Александры Милгравис (урожд. Скворцова, 1909—1979). Она оказалась единственной из взрослых, ехавших в нашем вагоне, кому удалось вернуться на родину. Это случилось 20 мая 1955 года. В теплушке Александра познакомилась со своей ровесницей, певицей из Польши, которая бежала в 1939 году из горящей Варшавы, оккупированной немцами, да вот волей недоброй к ней судьбы оказалась среди нас.

Эти молодые женщины держались всегда вместе, что впоследствии спасло их от голодной смерти. Помню, как певица не раз находила в себе силы и пела для нас. Это очень помогало нам оставаться людьми в тех диких условиях. Посреди вагона, в проходе, на собственной раскладушке времен Первой мировой войны расположилась очень колоритная, оригинальная, прекрасно воспитанная и хорошо образованная мадам Штольцер — так нам она себя отрекомендовала. Держалась она с достоинством, охотно разговаривала с попутчиками, но иногда вдруг наглухо замыкалась в себе. Она рассказала, что ее муж — русский полковник. Личных вещей с нею почти не было, все они остались у мужа, когда ее ночью вывели из вагона, в котором они сначала оказались перед выездом из Риги.

Хорошо помню семью Левенсон — пожилую разговорчивую маму и ее взрослых детей — наивного и доброжелательного Леву и строгую и серьезную Еву. На нарах, через проход напротив нас, расположились три члена семьи Менгельсон. Люди они были очень состоятельные, но взять с собой вещи они или сами не догадались, или их, как и многих других, ввели в заблуждение в момент ареста. Единственным свидетельством достатка мадам Менгельсон были две роскошные серебристые лисицы, которые она все время нашего «путешествия» накидывала на плечи. В дальнейшем эту семью поселили в соседней с нами деревне Огнев Яр, где, как показывают документы, уже четвертого декабря 1941 года в страшных муках от голода скончался Янис Менгельсон. Луция (1896—1942) продержалась до 16 октября 1942 года. Вернуться в Ригу удалось лишь их дочери Эрике, но об этом ниже. Хорошо держались и старались не падать духом Фрида Кремер и ее дочка Фаня, моя ровесница. Это помогло Фане вернуться в Ригу в 1947 году. В дальнейшем я расскажу и про других, с кем тогда свела меня безжалостная судьба.

А пока два паровоза, натужно пыхтя и изредка, как бы для отдыха, останавливаясь, увозили нас все дальше и дальше на восток. Двадцатого (или двадцать первого?) июня, днем, наш эшелон по окружной дороге обошел Ярославль. Издали были видны белые стены кремля и купола церквей. Паровозы взяли курс на Кострому. Этот участок дороги запомнился мне плохо, видно и у меня появились симптомы привыкания к однообразной и удручающей действительности, в которой мы находились. Впрочем, вполне возможно, что причиной такого моего состояния стало нервное напряжение, вызванное событиями 14 июня. Следствием стресса стал спазм в брюшной области, очень долго не проходивший. Желудок не принимал пищу, только иногда, скорее, по привычке, чем по необходимости, я жевала черный хлеб, запивая его водой. Около 20 июня мое состояние ухудшилось, во рту стояла горечь, тошнило. Я, разбитая, физически ослабленная, лежала на отведенном мне папой местечке на верхних нарах и ни на что не реагировала. Мама, все еще находившаяся в отчаянии от происшедшего, серьезного значения моему недомоганию не придавала.

В ночь с 21 на 22 июня эшелон подошел к станции Вятка (г. Киров). Поманеврировав немного, поезд остановился. Охрана приоткрыла в вагонах двери, так как стояла невероятная духота. Впрочем, так поступали на всех длительных остановках, особенно если надо было идти за водой и едой. А в эту роковую для всей огромной страны ночь, я не могла уснуть, прислушивалась ко всему, что происходило снаружи. Там было необычно шумно. Маневрировали эшелоны, охрана громко переговаривалась. Выглянула в оконце и вдруг увидела: прямо напротив нас стоял военный эшелон, составленный из открытых платформ, груженных военной техникой. Он медленно продвигался в ту сторону, откуда приехали мы.

А мне становилось все хуже и хуже. Почувствовала острый приступ боли и тошноты, спустилась с нар, пришлось потревожить маму. И только успела просунуть голову в приоткрытую дверь вагона, как началась страшная рвота желто-зеленой желчью. Я напугала всех, а сама еле держалась на ногах. Через охрану вызвали врача. И вот я вижу, как, подпрыгивая, бежит к нашему вагону мужчина, одетый необычно (уже привыкли, что вокруг лишь люди в военной форме) — в серый поношенный плащ, на голове — изрядно помятая шляпа. «Куда?» Ему показали на наш вагон. Войдя, мужчина представился, сказав, что он — врач. Потом внимательно меня осмотрел, выслушал, порылся в своем чемоданчике, достал из него глауберову соль, развел ее в кружке и заставил меня выпить эту пакость.

К счастью, лекарство помогло, и к вечеру я оправилась, изрядно напугав маму: стула не было девять суток. Закончив возиться со мной, врач вежливо спросил, нет ли жалоб у других «пассажиров», но при этом ни в какие разговоры не вступал, а на посыпавшиеся на него вопросы коротко отвечал «Не знаю…» Затем раскланялся и ушел. Скорый приход врача вызвал у всех обитателей нашего вагона недоумение: везут непонятно кого в неизвестном направлении, а тут оказывают девочке скорую помощь… У всех один вопрос: этот врач едет вместе с нами в эшелоне или его пригласили с вокзала? Эшелон продолжал стоять. Из нашего вагона просматривалось здание вокзала, на котором огромными буквами было написано: ВЯТКА. Дело в том, что с 1934 года город этот назывался Киров, но название железнодорожной станции было оставлено прежнее. Заговорили о том, что этот край известен как место ссылки еще со времен царской России, что сюда был сослан А. И. Герцен и еще много хороших людей.

Необычно долгая остановка и ночные военные эшелоны, ушедшие на запад, начали вызывать недоумение: что случилось? Пытались спрашивать у конвоиров, но они отвечали молчанием и отходили от вагонов подальше. Пополудни к вокзалу подошел пассажирский поезд, впервые мною увиденный за всю нашу дорогу. Он тоже надолго остановился, из ближайшего к нам вагона была слышна польская речь. Наша спутница — варшавская певица тут же подошла к приоткрытой двери и, воспользовавшись тем, что в тот момент рядом не было конвоира, быстро заговорила с польскими пассажирами. Но тут появился охранник и с громким окриком «Прекратить разговоры!» шумно захлопнул дверь вагона. Но наша актриса все-таки успела кое-что узнать: «Сегодня на рассвете немцы напали на СССР. Война!» Сразу стало понятно и длительное стояние эшелона, и растерянность энкаведешников, и частота прохождения воинских составов.

Так мы узнали, что на рассвете 22 июня 1941 года фашистские орды перешли границу СССР, вторглись в мирно спящую страну. Как отреагировали на это сообщение находившиеся уже девятые сутки в замкнутом пространстве вагона-телятника, страдающие от скудной еды, постоянного недостатка питьевой воды, изнывающие от жары и тяжелых запахов люди — этого я не помню, но думаю, что у каждого были свои мысли. Только поздним вечером наш состав вздрогнул, зашевелился и, прогибая рельсы тяжестью нашего горя, двинулся дальше на восток.

К вечеру 23 июня, медленно, как будто сетуя на усталость, эшелон подошел к большой станции. Это был город Молотов, по-старому Пермь, когда-то главный город Урала. «Пермяк — солены уши» — это от «соли камской», от пермских соляных шахт знаменитого рода братьев Строгановых и несметного числа их потомков. У вокзала, на многочисленных путях маневрировали или стояли несколько эшелонов. Вдруг одна из наших женщин через оконную решетку в вагоне, который проходил рядом, увидела лицо своего мужа. Она громко закричала, замахала, все бросились к окошкам, пытаясь что-нибудь разглядеть, но поезд медленно прошел мимо и когда я, наконец, протиснулась к оконному отверстию, он был уже далеко. Я долго не могла прийти в себя, понимая, что в этом вагоне мог находиться и мой отец. Через много лет я узнала, что, действительно, отца тогда везли в Усольлаг, это недалеко от Соликамска, севернее Перми. Значит, до места той памятной «встречи» нас везли след в след, и именно здесь наши пути разошлись навсегда.

(Когда я в 1946 году вернулась в Ригу, тетя рассказала, что якобы «кто-то» в промежутке между 1942 и 1944 годами передал моим родственникам маленький пузырек из-под лекарства, в котором находилась свернутая в трубочку записка, написанная рукой моего отца. В ней он очень кратко сообщал, где находится, что очень страдает от болей в ногах и спине и не перестает думать о том, что стало с его детьми и где они. Как этот стеклянный флакончик с письмом через линию фронта попал в Ригу, неизвестно. Мне его увидеть не пришлось.)

Тогда же в мельтешении маневрирующих составов, мама обратила внимание на эшелон, из окон которого выглядывали женщины и дети южного типа, одетые очень скромно, по-крестьянски. Маме удалось с ними переговорить. Оказалось, что они из Молдавии, крестьяне, и не могут понять, за что их насильно изгнали из родных мест и куда везут. Мама была изумлена, так как эти женщины внешне никак не подходили под категорию «буржуи», и своими мыслями поделилась со мной. Но, увы, ни мама, ни тем более я, тогда не понимали, что стали свидетелями страшной затяжной войны против собственного народа, независимо от его сословной и национальной принадлежности. Не знали и не знаем по сей день, что погибших в Великую Отечественную войну, может быть, даже меньше, чем число убитых или заморенных голодом и болезнями за все годы, начиная с 1917-го.

Ночью после утомительного (в первую очередь — для нас) маневрирования, с грохотом и дребезгом, то набирая, то убавляя скорость, наш эшелон потянулся дальше на восток. Утром сквозь посеревшее небо и сетку редкого дождя открылась величественная панорама седого Урала. К небу ступенчато воздымались огромные темно-зеленые ели, а между ними примостились аккуратные темно-серые бревенчатые домики, украшенные голубыми ставнями. Местами из-за деревьев как бы наползали отвесные серые скалы, иногда отражаясь в светлых жизнерадостных речках и речушках.

Неожиданно наступила полная темнота, густо запахло паровозным дымом, но через короткое время так же неожиданно вдруг стало светло. Эшелон проскочил первый туннель. Не успели вдохнуть свежего воздуха — снова туннель, и так несколько раз. К полудню промелькнул знаменитый столб на границе Европы и Азии. Состав пошел спокойнее. Потрясающая красота Урала осталась позади, но прекрасное всегда поднимает настроение, затеплилась вдруг фантастическая надежда, что все уладится. Ночью остановились в Свердловске. Коля Казацкий с кем-то помчался за хлёбовом, принесли полведра чего-то макаронного, но есть не хотелось.

После Свердловска поезд вышел на великий Транссиб и через Камышлов и Тюмень — дальше, в необъятную Сибирь, где дороги долго-долго не кончаются. Ландшафт резко изменился, замелькали березовые рощи, потом их сменила степь. На одном из степных участков по настойчивому требованию матерей, поезд остановился на тридцать минут, и нам разрешили выйти из вагонов и прогуляться по степи. Кругом ковыль, тишина, а в небе — птицы, множество птиц. Но вот снова гудок — по местам! Я успела собрать пучок ковыля, от него шел незнакомый терпкий запах.

Миновали Тюмень, Ишим. Поезд пошел значительно быстрее, делая короткие остановки. Июнь подходил к концу. Особое впечатление произвели на меня знаменитые солончаковые степи. Равнина с редкими озерами, покрытая, как волдырями, отдельными кочками, между которыми белеет выпаренная солнцем соль. Хилая растительность, блеклая травка. Людей почти не видно — пустыня! Вдруг у появившегося неожиданно большого озера показалась деревенька. Эшелон зачем-то остановился, и я разглядела поселок — жалкий, низкий, чем-то жуткий. От него шло несколько человек, похожих на нищих. Они предложили купить у них жареных карасей из местных озер. Мы очень удивились — конвой был не против, но наша мама, экономя остатки денег, не решилась на эту покупку.

Следующей нашей большой остановкой был Омск. Подъехали мы к нему рано утром, короткая передышка от вагонной тряски, и вот паровозы снова подцеплены, и наш эшелон тянется дальше, на восток — но куда? Как долго? За окошком по-прежнему мелькали станции, но поезд шел ходко, и я не всегда успевала прочесть их название. Вот остановка Татарск, городок, напоминающий, что здесь еще во времена Ивана Грозного казак Ермак со своей ватагой сражался с Синей Ордой. Да и сегодня татар в этих краях достаточно много. Потом был Барабинск — «столица» знаменитого степного края. А поезд все шел и шел… Утомление двухнедельной дорогой сказывалось, под монотонный стук колес я забылась крепким сном и не слышала, как маневрируя на путях, поезд осторожно подобрался к речному порту Новосибирска. Разбудил меня мамин взволнованный голос: «Просыпайтесь, вставайте, надо выгружаться!..» В вагоне все уже все были на ногах, люди возбужденно переговаривались, пытаясь предугадать дальнейшие события…

### Новосибирск — Каргасок.

Конец июня 1941 года. На западе идет жестокая война, но что там происходит — для сосланных из Риги тайна. Мы полностью лишены какой-либо информации. Нет ни газет, ни радио. Охранники молчат.

К речному порту города Новосибирска по железнодорожной ветке, упирающейся в могучую Обь, один за другим прибыли три эшелона со ссыльными из Латвии и Эстонии. Лязг отодвигаемых железных засовов и выкрики охраны: «Выходи с вещами!». Рассвет, прохладно. Я открываю глаза и не могу сразу понять, что происходит. За две недели пути в наглухо закрытом, темном, вонючем вагоне я уже отвыкла от света и свежего воздуха. Но вот двери открыты настежь, светло, все вокруг суетливо собирают узлы, мешки, редкие чемоданы. Я помогаю одеться и собраться бабушке, она лежит на нижних нарах. Подтаскиваем вещи к выходу, осматриваемся.

Перед нами великолепная панорама гигантской реки на рассвете — это сибирская Обь. Для выноса багажа из вагонов и переноса его на дебаркадер присланы грузчики. Мама хлопочет о бабушке, ее надо выносить, а мы с Ирой сами по себе. Наконец, выбираемся из вагона и направляемся к берегу, где складывают наш багаж. Мама просит не отходить от вещей и внимательно за ними следить. Но, видимо, что-то отвлекло наше внимание, в результате мы не досчитались кожаного портфеля, набитого моими вещами. Мама тут же сообщила о происшествии кому-то из руководителей эшелона. Немедленно был составлен «Акт о пропаже вещей». И это в обстановке обшей сумятицы и хаоса! (Самое удивительное, что в сентябре того же года, когда мы уже жили на поселении в деревне Ершовке, нам неожиданно вернули украденный портфель. Он был, увы, пуст, но нам пообещали, что за пропавшие вещи мы получим денежную компенсацию, чего, однако, не случилось. А вор, как нам сообщили, «изобличен и отбывает наказание»).

Эшелон постепенно пустеет. Снизу, от берега реки открытые двери вагонов смотрятся жутковато. Всех переводят на дебаркадер. Говорят, что будем ждать «водный транспорт». Еды никакой, кроме ржавых кирпичей кислого черного хлеба. Но можно «достать» кипяток. Довольно жарко, грязно. Мухи и тоска. Ждем. Ждем долго: что же дальше? Толпа в три тысячи человек сидит на своих вещах. Местные жители к нам не подходят, видимо, это им запрещено. Смотрю на реку: вода мутная, буровато-коричневая, что-то в ней видится грозное и жестокое. На противоположном берегу вижу силуэты зданий — это Новосибирск. Информации никакой, люди стоят и сидят молча в ожидании неведомого. Но все же кое-что узнаем: кто-то обрывок газеты нашел и прочел, кто-то перекинуться несколькими словами с кем-то успел. Теперь уже почти все знают, что на западе началась война. Красная Армия отступает. По толпе шелест возбужденного вздоха: вдруг немцы придут и спасут! Мама молчит, она хорошо помнит и большевиков, и германцев времен Первой мировой...

Так проходит несколько часов. Вдруг вижу: к дебаркадеру подходит белый колесный пароход, из него выходят пассажиры, видимо, местные жители, с узлами, мешками, в каких-то ватниках, — серая унылая толпа. Нас просят потесниться и пропустить их. Пароход опустел, но продолжает стоять у пристани. Заметно поубавилось охраны: бежать ведь некуда, кругом Сибирь-тайга! Наконец, появился какой-то мужчина в полувоенном френче со списком в руках. Он называет ряд номеров вагонов из эшелонов и объясняет, что прибывшим в них следует группами перебираться на пароход. Наш вагон почему-то не назван. Снова толчея и суматоха. Коля Казацкий ушел в надежде разузнать, что будет дальше. Вернувшись, сообщает, что стоящая несколько в стороне баржа — следующий транспорт, предназначенный уже для нас, и скоро ожидается посадка.

И вот отчаянно дымящий буксир медленно, как будто нехотя, подтаскивает к дебаркадеру гигантскую баржу. Опять суматоха, суета, выкрики и погрузка. Каждому вагону заранее определено место. Долго ожидаем своей очереди к спуску в трюм. Когда, наконец, она подошла, и мы спустились по крутому трапу, я ахнула от ужаса: теснота жуткая, на наш вагон, в котором ехало 28 человек выделили не более семи квадратных метров, чтобы сложить багаж и «расположиться» на нем самим.

Погрузка продолжалась до позднего вечера, так как в баржу поместили три эшелона: два из Эстонии и один — наш, из Риги. В общей сложности не менее двух с половиной тысяч человек. Кругом царил сумрак, стоял бесконечный гул. От людской тесноты ступить было некуда. Нашему вагону повезло с местом: его разместили недалеко от трапа, выходящего на палубу, поэтому досталось чуть больше света и воздуха, чем остальным. Несколько позднее, когда поднялась на палубу, я обнаружила — в трюм вело два входа, окон, естественно, нет. На корме примостился туалет, единственный на всю баржу, на одного человека. Очень быстро у него собралась очередь длинною часа на полтора, многие не выдерживали и пристраивались рядом, о стеснительности стали забывать, люди поневоле превращались в животных. Но вот погрузка, наконец, завершена. На буксире отдали концы, и баржа двинулась за ним вниз по Оби, реки широкой, как море. Берегов не видно. Спокойно, ветра нет, дождя тоже. Только облака туманной пеленой прикрывают солнце.

Первую ночь я провела вместе с мамой на палубе, прикорнув на лестнице, спускавшейся в трюм. Измученные теснотой и недосыпанием, а главное — голодом, две с лишним недели не видевшие нормальной пищи, люди молча наблюдали за происходящим. Днем выползали из тесного вонючего трюма, пытаясь получить хоть немного энергии и бодрости от скудного северного солнышка. Преодолевая унылое однообразие, люди пытались заняться чем-то, что могло их развлечь. Пожилая дама по фамилии Кузнецова (кажется, из знаменитой семьи фабрикантов фарфора) собрала вокруг себя некое подобие дамского клуба и темпераментно рассказывала о чем-то окружающим. Я страдала от отсутствия своих любимых книг и слонялась по палубе из одного конца баржи в другой, заняв заблаговременно очередь в туалет.

В центре палубы располагалась кухня. Около нее стояли огромные бочки с прошлогодней квашеной капустой, из нее готовили варево — пустые щи. Дневной рацион состоял из кипятка, поварешки пустых кислых щей и ржавого хлеба (пока вдоволь). От нездоровой пищи и длительного недоедания у многих начинали отекать ноги. Взгляд становился тупым, люди все больше лежали, дремали. У мамы тоже стали сильно опухать ноги, она выбиралась на палубу, прислонялась к какому-нибудь бревну или стенке и часами отчужденно смотрела вдаль. День, ночь, снова день... Я теряла счет этим дням.

Однажды я, слоняясь по палубе, решилась подойти к «дамскому клубу», в надежде услышать что-нибудь интересное. И вот что я услышала. Мадам Кузнецова на сей раз высказывала мнение, что всех нас вместе с баржей хотят потопить, для чего и везут куда подальше. Свои доводы мадам Кузнецова основывала на том, что в годы Гражданской войны на Волге бывали случаи, когда загружали баржу «буржуями», офицерами, монашками, выводили ее на середину реки, прорубали дно или открывали люки, и топили вместе со всеми кто на ней был. Обо всем этом рассказала одна женщина, которая, выплыв, спаслась. Я тогда об этом услышала впервые, а теперь многие знают, что подобный, сравнительно простой способ уничтожения людей применялся широко и в Гражданскую и много позднее. Фантазия моя после услышанного разыгралась. А если?.. И как спасаться?.. Я подошла к нашему люку, ведущему в трюм. Да, наш вагон расположен рядом с лестницей, если что случится, надо быстро подняться по ней и прыгать в воду, а до берега-то я уж, конечно, доплыву. Немного успокоенная этим я решила никому ничего не говорить. Рассказов, домыслов, страхов и без того было предостаточно.

Не помню, на который день плаванья, к вечеру, наша баржа приблизилась к городу Колпашево, но остановки не последовало, мы плыли дальше. В памяти остался высокий желтовато-оранжевый яр, на котором выстроились бревенчатые домики с синими резными наличниками и ставнями. Множество береговых ласточек вились вдоль кручи, сплошь усеянной круглыми отверстиями — входами в гнезда этих пичужек. Я тогда еще не знала, что с этим городом будет связано пятнадцать месяцев моей ссылки. Пока же наша баржа миновала его и держала курс дальше, на Север. А что же стало с тем пароходом, в который посадили часть ссыльных еще в Новосибирске? Тогда он ушел вперед, однако периодически возвращался, сближался с баржой, команды о чем-то переговаривались. Затем на пароход начали переводить группы людей, вызывая их опять по номерам вагонов. Выяснилось, что все это делалось для высадки на берег части ссыльных: белый пароход был маневреннее неуклюжей громадины-баржи и ему легче было пристать к берегу.

Особая суета началась с приближением к Нарыму. Вспомнили, что это место ссылки И. Сталина, и что он, видимо вспомнив прелести этих мест, переселяет сюда тысячи ни в чем не повинных людей. Не знаю, что в это время думал Сталин, он тогда только начал выходить из оцепенения, вызванного фактом начавшейся войны, но вот его прихвостни из НКВД хорошо знали, куда нас везут.

Эти места Западной Сибири (Парабель, Нарым, Каргасок и т. д.) хорошо были известны своими морозами и нескончаемыми таежными болотами, безлюдьем. А белый пароход все чаще и чаще подходил к барже и на него вызывали вагон за вагоном. Люди быстро собирали свои пожитки и перебирались на его палубу. Пароход отвозил их к берегу и вновь возвращался. Баржа постепенно пустела, на ней становилось свободнее. Неугомонный Коля Казацкий все ходил и собирал новости, но без видимого успеха.

Хочется вспомнить необычный случай. Пока белый пароход бегал к барже и обратно — к берегу Оби, высаживая ссыльных, выяснилось, что на нем находилась Валентина Ивановна Афанасьева, урожденная Бурлова, а на барже оказался ее супруг Владимир Михайлович Афанасьев (как он из мужского этапа оказался здесь — непонятно). Супругов арестовывали отдельно, он, видимо, не отозвался в вагоне на выкрик «Кто глава семьи?!», так как был один. Они ехали из Риги в одном эшелоне, но в разных вагонах, в Новосибирске встретиться было почти невозможно — слишком много нас было, а вот когда с баржи пересаживали на пароход, супруги нашли друг друга. Их высадили вместе в Каргасоке (так! – модератор сайта).

Каргасок... Остановка... Бревенчатая пристань, вернее — плот. Вдали видны унылые, серые постройки, все серо, пустынно и очень мрачно. Какая-то девочка, тоже в чем-то серо-черном, стояла на пристани и продавала розовые леденцы в кульке. Ах, как мне их захотелось, но у мамы осталось совсем мало денег... Тогда бывшая пока еще при деньгах Нина Николаевна купила эти леденцы и угостила меня. До сих пор помню их необычный, ненатуральный привкус. Это были последние леденцы на долгие годы моей жизни.

В Каргасоке белый пароход расстался с последними своими пассажирами и ушел на юг. Больше мы его не видели, а я вновь встретилась с ним уже в 1944 году, когда из детского дома была «трудоустроена» и направлена в зооветеринарное училище в город Колпашево. Нашу баржу здесь тоже значительно «разгрузили» и мы поплыли дальше в неизвестность.

### Нарымский урман — Васюганье.

*А дорога моя, как в сказке,*

*Сквозь дремучий лежит урман.*

*Авраменко. «Туман»*

 Снова дни сменяют ночи, а мы все плывем, путь кажется нескончаемым, но ландшафт постепенно меняется. Команда на барже оказалась приветливой, матросы объяснили мне, что мы идем уже не по Оби, а по ее притоку, который называется Васюган: «Видите — вода другая, коричневая и фарватер сужается...». Только тогда я обратила внимание, что идем против течения, что цвет у воды ржаво-коричневый, а берега сблизились настолько, что видна тайга. Сердце тревожно сжалось: так куда же нас везут, на какой еще край света? А плыла баржа, оказывается, аж в самый центр Васюганских болот, самых обширных в мире, по площади равных двум третям всей Европы. Здесь когда-то плескались волны четвертичного моря, сформировавшегося после таяния ледников. Потом море ушло, оставив, как память о себе, нескончаемые болота, изредка прерываемые гривами и озерками.

Давайте взглянем на карту: на сплошном зеленом фоне мы видим штрихованные обозначения многочисленных и обширных болот и голубые пятна больших и маленьких озер, которые дают начало многим—многим речкам и рекам. А сам Васюган берет начало в южных болотах Западной Сибири, но затем поворачивает на северо—восток и с медлительной степенностью несет свои воды в могучую Обь. В верхнем и среднем течении река неширока и очень извилиста. Окружает Васюган мшистая темнохвойная тайга, которую здесь называют таинственным словом «урман». Местами урман обрывается крутыми ярами. Условия жизни в этих краях таковы, что прокормиться и выжить здесь могли только очень умелые, выносливые и сильные люди. До тридцатых годов двадцатого века край был почти безлюден, жили здесь селькупы[1](http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/nikiforova-memorires/nikiforova-barza-urman.html#1), ханты, реже эвенки, пришедшие в восточного берега Енисея, да, еще со старинных времен, русские промысловые люди — охотники, чаще староверы.

В царские времена в Нарым, Каргасок, Парабель ссылались политические, бывал в Нарыме и будущий «отец народов» И. Сталин. В советское время, во времена «раскулачивания» крестьянства (30-е гг. ХХ в.), сюда на Васюган и его притоки согнали огромное количество хлеборобов, в основном с юга Сибири и Алтайского края. Пока они на плотах и баржах добирались до мест своего поселения, наступила ранняя здесь осень. Крестьян насильно высадили на безлюдные таежные и болотистые берега и предложили осваивать дикие земли. Землянки и шалаши сумели они поставить уже в снегу. Лютый холод, голод и болезни сделали своё.

К весне первого года от спецпереселенцев осталась едва пятая часть. Оставшиеся в живых начали рубить леса на гривах, корчевать под посевы земли в тайге, осенью бить кедровый орех, ловить в капканы и в петли дикого зверя. Жизнь кое-как наладилась, и вдоль Васюгана возникло немало деревень, поселков. Некоторые из них стали даже райцентрами: Средний и Новый Васюган, Майск и др. Вновь «великий кормчий» вспомнил забытый Богом край после известного «Пакта Молотова—Риббентропа», по которому СССР присоединила к своим западным областям земли, населенные «ненадежным элементом», который подлежал выселению. Собрав своих прихвостней из НКВД, он ткнул пальцем в карту Сибири и напомнил, что эти просторы пригодны для обживания сотнями тысяч и даже миллионами людей и добавил, что он сам отбывал ссылку в Нарыме и хорошо знает эти места. И пошла новая лавина репрессий. Так судьба занесла в этот урман и меня...

И вот мы плывем в неведомое. Иногда с косогоров выглядывают бедные поселки — три-пять серых изб. Однажды, уже поздним вечером, раздался страшный грохот, еще оглушительней был одновременный вскрик всех находившихся в трюме людей. Они подумали, что дно баржи пробито, и она начинает тонуть, но, к счастью, ничего серьезного не случилось. Баржа действительно задела толи мель, толи отдельный камень или топляк, но все обошлось — баржа медленно сдвинулась с препятствия, а матросы нас успокоили, что все обошлось. Постепенно все пришли в себя. Около середины июля рядом со мной у молодой матери на руках скончалась малютка. Мать была бессильна, врача не было, да и что он смог бы сделать в этих условиях! Я впервые воочию увидела смерть и долго не могла прийти в себя.

Тем временем баржа подошла к районному центру — поселку Средний Васюган. Высокий серо-желтый косогор, наверху чернеют несколько изб. Баржа остановилась, высадили на берег не то два, не то три вагона, т. е. 60—80 человек. С косогора поглазеть сбежала стая мальчишек. На вопрос чьи они, все дружно ответили: «Детдомовские!» — слово для нас тогда совсем еще непонятное. Все мы, приплывшие на барже, думали, что здесь в поселке, где наверняка есть погост, похороним умершего младенца. Мать его тоже на это надеялась, но... Баржа вдруг отошла от берега, прошла далее по реке не более километра и за излучиной остановилась. На противоположный от селения берег спустили трап, по которому сошла мать с завернутым в простыню мертвым младенцем, его бабушка, еще два или три человека из ссыльных, возможно близкие, и несколько человек из команды баржи. Все скрылись в чаще, откуда вышли минут через двадцать с окаменевшими лицами. Оставшиеся на барже тоже молчали. Да и что можно было сказать, когда ребенка зарыли, как сдохшую собачонку!

После Среднего Васюгана реку все чаще перегораживали коряги, в воде было много сучьев, топляка, плыть становилось все опаснее, однако баржа протянула еще около двухсот километров и дошла до старинного остяцкого селения Айполово. Остяки, ханты, манси — таежные охотники, но советская власть поселила вдоль Оби, Васюгана и других рек русских раскулаченных крестьян, и теперь здесь все население смешалось. В Айполове среди привычных изб мы увидели бревенчатый, черный от времени двухэтажный дом. На фоне однообразного пейзажа он казался огромным. Опять на берегу крутятся мальчишки и опять «детдомовцы». Но теперь мы знаем, что «Детдом» — это детский дом, старинное его название — приют. Зачем здесь, в дремучей глуши, эти приюты, было непонятно. Пока мы жили в Латвии, нам было мало известно о порядках в СССР, а большевики умело скрывали все свои преступления. В те годы в России под руководством гениального палача Дзержинского и его соратника Менжинского, с благодушного согласия сначала Ленина, а позднее — его последователя Сталина, были уничтожены миллионы, десятки миллионов людей. Только в период раскулачивания погибло, по непроверенным данным, более десяти миллионов крестьян. Часть их детей выжила, их-то и разместили в детских домах. А сейчас организация детских домов приписывается Дзержинскому, как его великое благодеяние.

В Айполове высадили на берег еще несколько «вагонов», в основном, эстонцев. Река здесь совсем обмелела, фарватер сузился до десяти метров, и наша большая баржа стала с трудом разворачиваться в обратный путь. А нам объявили, что переведут на две баржи поменьше и повезут дальше — в Новый Васюган. Это, рассказывали нам, хороший, совсем новый поселок. Измученные дорожными переживаниями люди обрадовались скорому окончанию пути. Перенос багажа, перемещение в новые баржи проходили опять мучительно долго из-за нашей истощенности и усталости. Тем более, что никакой еды, кроме ржавого черного хлеба, уже не оставалось. Сейчас я не могу понять, как мы тогда выжили...

Когда маленькую баржу загрузили, в трюме оказалось так тесно, что можно было лишь стоять. Бабушку нашу кое-как, полусидя, пристроили на наш багаж. Стал накрапывать дождик. Темнело. Буксирчик отвалил от Айполовского берега и пошел во тьму. Тропинкой по тайге до Нового Васюгана оставалось всего лишь километров двадцать, но нас везли по извилистой реке, и путь утраивался. Дождь усиливался, но спрятаться от него было некуда. Никаких навесов над палубой не было. Опять, как в первую ночь на той, большой, барже, тесно прижавшись к маме, пристроилась я на ступеньке лестницы, ведущей в трюм. Так мы с ней продремали до рассвета, а там и дождик кончился, стало проглядывать неласковое здесь солнышко. Обе баржи шли очень медленно, часто путь преграждали коряги, упавшие деревья, топляк. Буксир не раз останавливался, матрос спускался на берег и топором освобождал фарватер от завалов. Было что-то таинственное, будто заколдованное в этой таежной реке, пробивающейся через лесную чащу и тишину.

Но вдруг как будто посветлело, впереди на берегу просматривались новые светлые домики, их становилось все больше. Вот и райцентр Новый Васюган. Строили его все те же спецпереселенцы, крестьяне, согнанные в эти места в тридцатые годы. Нас довольно быстро выгрузили и перевезли в совсем новое и показавшееся нам таким уютным здание. Во всех комнатах были устроены нары. Позднее выяснилось, что в Новом Васюгане проходила какая-то, местного значения, конференция, и в этом доме располагались командированные. Нам выдали талоны на питание в ближайшей столовой: борщ и каша — какое это было счастье! Всюду успевающий Коля Казацкий, придя с улицы, сообщил, что в поселке есть кинотеатр и вечером можно пойти смотреть кино. Сейчас не помню, что мы тогда смотрели, лента часто рвалась, фильм прерывался, но это уже была пусть хоть маленькая, но цивилизация.

На следующий день, не сказав никому, я отправилась знакомиться с окрестностями поселка. Меня интересовала ТАЙГА. Местные жители рассказали, что вон там, за избами (а это «там» было совсем рядом) начинается настоящая чаща. Осмотревшись в поселке, ознакомившись с его улицами, что было сделать нетрудно в виду их малочисленности и непродолжительности, я храбро направилась в сторону леса. Граница между обжитой площадью и тайгой была резко обозначена самой природой: переступив через нее и сделав всего несколько шагов, я остановилась: густой мох, заросли, высокие кочки и между ними — вода. Невысокий хвойный лес, но настолько густой, что солнце сюда не заглядывало. На уровне моих коленок — сплошная комариная завеса, и такой гул и шум шел от них, что в первый момент я оцепенела от ужаса, а во второй — стремительно выскочила из леса под открытое небо поселка. Мои голые ноги были сплошь покрыты комарами (именно сплошь!), пришлось хорошо помахать руками и попрыгать, чтобы избавиться от них. Искусали же меня эти крылатые твари за недолгое время порядочно...

Райцентр Новый Васюган оказался всего лишь временным прибежищем, но зато мы получили возможность отдохнуть после долгого и страшного пути. Прошла неделя или чуть больше, и поступило новое распоряжение — снова готовиться в путь. Вечером следующего дня нас погрузили на небольшой открытый катер. На нем поплыли не все «пассажиры» нашего вагона, кое-кто, в частности семья Менгельсон, сказавшись больными, остались. Они вышли на берег проводить нас. Я хорошо запомнила госпожу Менгельсон, которая была в своем роскошном платье, поверх которого были наброшены две серебристые лисицы — это было всё, что она в суматохе отъезда успела взять с собой.

Опять холодная бессонная ночь, почти у самой поверхности воды. Катер то и дело натыкается на коряги, над рекой нависают деревья, по берегам тянется темная непроходимая тайга. Плыли ровно сутки. К вечеру следующего дня катер остановился у крутого косогора, сложенного кирпично-красными песчано-суглинистыми породами. Наверху виднелись избы поселка Огнев Яр. Матрос объявил, что катер дальше не пойдет, и нам предстоит высадка.

Подошел чекист, ответственный за ссыльных со списком и перечислил тех, кто распределен на «постоянное жительство» в Огнев Яр. Сообщил, что для них приготовлены избы, и они сразу должны в них вселяться. Остальным, в том числе и нашей семье, предстоит ночевать в местной школе, чтобы с утра пешком по таежной дороге, отправиться в расположенный выше по Васюгану поселок Ершовка, до которого сухопутным путем около пяти километров, а рекой — все двадцать. А сейчас следует поторопиться, поднять свои вещи по обрыву и отнести их в школу.

Начал накрапывать дождь, стало сумрачнее. Помощников для переноса вещей здесь не дали. Помогали все те же: неугомонный Николай Казацкий, Лева Левинсон и четырнадцатилетний осиротевший еврейский мальчик Яша, о котором я рассказывала в главе «14 июня». Добираться до школы оказалось нелегко, а мне несколько раз пришлось подниматься и спускаться по крутому обрыву, перетаскивая наш багаж. Когда, наконец, я перетащила последний узел, было уже почти темно…

*1 В быту, в разговорной речи, в учетных документах того времени они называются остяками. Численность селькупов-остяков около 3000 человек. Язык относится к самодийской группе, куда входят также языки ненцев, энцев, нганасан. Однако, остяки Васюгана говорят в основном по-русски, ибо среди них нередки смешанные с русскими браки. Основное занятие — охота и рыболовство.*

**Огнев Яр**

… Итак, нас разместили на ночевку в один из классов Огневской школы. Расположились на полу. Поужинали полусырым кирпичом ржаного хлеба с водой. Вокруг копошились, суетились усталые люди, пытаясь устроиться на ночь поудобнее. Слышалась разноязыкая речь — русская, латышская, эстонская, еврейская, польская. Я пыталась уснуть, но сна не было — мною овладело какое-то сомнамбулическое состояние, когда все давно уже стало безразлично от усталости и многих переживаний. Под утро все же уснула. Проснулась довольно поздно от маминого прикосновения: «Вставай быстрее, все уже разошлись».

Утро, сумрачное небо все в тучах, накрапывает дождь — уже август. Класс, в котором мы ночевали, опустел. Все ушли по своему назначению. Нам и еще одной группе из вагона, в котором нас везли до Новосибирска, предстояло пешком пройти около пяти километров до поселка Ершовка. Мама торопит меня, так как за нами пришел возчик, чтобы взять багаж и помочь его вынести. Встала, огляделась, вечером в темноте ничего не было видно. Обычный школьный класс с партами, большими окнами, какими-то плакатами на стенах. Только все чужое. Торопливо собираем свои мешки, чемоданы. Поднимаем бабушку, помогаем ей одеться и выносим с помощью возчика к подводе, стараясь устроить поудобнее. Она ко всему безучастна, больше молчит, понимая, что все кончено. Мужик, который нас сопровождал в Ершовку, оказался вежливым и расторопным, он ловко подхватил наш скарб, разложил его в телеге, поудобнее устроил в ней бабушку. Мне, сестре и маме предстояло идти пешком. Вышли, опять не позавтракав, и не потому что проспали, а потому, что завтракать было нечем. Но, странно, в первые месяцы ссылки мы еще не ощущали по-настоящему голод. Это будет потом.

И вот мы уже на окраине Огнева Яра и выходим на таежную дорогу. Вокруг невысокий, очень густой смешанный лес, дремучие заросли, ни человеческой души, ни зверя, ни птиц — тишина. Телега едет впереди, на ней бабушка и наш багаж, рядом шагает возчик, погоняя лошадь, мы идем следом. Начал было накрапывать дождик, но скоро перестал и сквозь тучи выглянуло нежаркое солнышко, в кустарнике заблестел ручеек и рядом, на кочках, — о, чудо! — белые калы, маленькие, нежные. Такие же, только намного крупнее, дарят в Риге невестам в день свадьбы. Мамины любимые цветы. Как могли они вырасти здесь, среди болотной чащи? Такие беззащитные и одинокие... Совсем как напоминание о недалеком прошлом, таком светлом и безмятежном... Сорвать эти цветочки рука не поднялась, и мы побрели дальше — в неизвестное и страшное будущее.

Дорога до Ершовки показалась нам длинной. Наконец впереди, на пригорке, мы увидели новое барачного типа строение, рядом еще два небольших бревенчатых домика, как оказалось — это еще не достроенные больница, приемная врача и его дом. Прошли по дощатому мостику через речку-ручей Ершовку и скоро оказались на околице деревни. Возле почерневшей от времени захудалой избы наш возчик остановился. Совсем рядом сквозь прибрежный кустарник виден уже так хорошо знакомый Васюган.

Из избы вышла бедно и неопрятно одетая краснолицая баба, открыла дверь в избу и показала куда нам перенести вещи. Заранее, еще до нашего прибытия в эту деревушку, местным жителям было объявлено, что прибудут новые поселенцы — «фашисты», и что они должны их разместить у себя. Так каждой семье ссыльных была определена изба и ее хозяева. Увы, наша хозяйка Некрасова оказалась не из самых симпатичных. Но делать было нечего, кроме как подчиниться чьей-то злой воле и последовавшим событиям.

Возчик внес в избу наш скарб, сложил в углу около входной двери, распрощался, сел в телегу и уехал в свою Огневку. А мы остались здесь, в Ершовке. Как нам объяснили — жить. Но как! Казалось, что это невозможно! Тогда, стоя посреди мрачной черной избы с тремя подслеповатыми оконцами, мы еще не могли себе представить, какие испытания нас ожидают, но уже осознавали, что судьба из двадцатого века одним ударом откинула нас в век — какой? — пятнадцатый? четырнадцатый?? Или еще глубже!? Мама в оцепенении: надо обустраиваться, но — как? Очнувшись после первого шока, она вместе с нами выходит из избы, чтобы осмотреться. От дома к реке через густые кусты ивы и дикой красной смородины спускается тропинка. Прямо с берегового камушка можно зачерпнуть буроватую васюганскую воду. Ширина реки здесь не более двадцати метров. На противоположном берегу прямо от воды вздымается густой черный лес — урман. Оказалось, что нас поселили в некотором отдалении от основного поселка — колхоза, за главными воротами деревни. Рядом, на пригорке, в другой избе, разместили две семьи из нашего же вагона: Левенсон и Кремер. Придя к ним, мы застали их в энергичном обустройстве. Госпожа Левенсон умело разделила простынями помещение на отдельные «участки», Лева ей помогал, а Соня разбирала узлы. Кто-то из местных сколачивал топчаны.

Встретили нас приветливо, подбодрили совсем было упавшую духом маму, но длинные разговоры вести всем было некогда, солнце клонилось к закату и вот-вот было готово упасть за тайгу. Мы попрощались и заторопились к себе заниматься тем же. Застали всех Некрасовых в сборе: старший сын Колька — худой мальчик с огромными, уходящими куда-то вглубь глазами, было ему где-то 14—15 лет, средний брат Васек, ему на вид было годков 12—13, черноглазый, коренастый, довольно шустрый и похожий на цыганенка, и младший Вовка лет десяти-одиннадцати. Вовка в противоположность среднему брату был голубоглазым, тоже очень худым, более флегматичным, но с хитринкой в глазах. Самой младшей в семье оказалась трехлетняя сестренка Настя, ее каждый день по утрам братья отводили в колхозные ясли. Вечером вместе с сестренкой они приносили поллитра молока — дневной белково-жировой рацион для всей семьи. В тот вечер хозяйка Надежда предложила нам отведать своей похлебки. Из черного чугунка налила в старую-престарую темно-зеленую миску болтушки из ржаной муки. Помню, ели из одной миски. Несмотря на уже начавшееся хроническое голодание, я съела несколько ложек, больше не смогла.

Подступали сумерки первой ночи в Ершовке. Устроились на ночлег мы на полу в углу избы, поближе к входной двери. И уже привычно тесно сбившись в кучку, забылись тяжелым сном. Утром по договоренности с хозяйкой ее сыновья соорудили нам из каких-то досок топчан, один на всех. Ширина нашего общего ложа едва достигала 130—140 сантиметров, а нас ведь было четверо. Всем вместе расположиться на нем было весьма проблематично, но изба была очень мала и другого места, к сожалению, не было. К счастью, мы довезли из Риги несколько одеял и подушек. Часть одеял ушла на подстилку, вещи свои мы сложили под топчан, а что-то из носимого развесили над ним на гвоздях. А сами со всем нашим «богатством» все же кое-как поместились на топчане, на котором нам предстояло прожить, как это выяснилось позднее, около трех с половиной месяцев. Бабушке определили место у бревенчатой стены, рядом устроилась я, затем валетом ко мне Ира, а на самом краю — мама. В такой тесноте невозможно было даже повернуться во сне и на следующий день я постелила себе на полу, где и проспала до самых лютых холодов, и лишь тогда, когда, сильно простудившись, покрылась нарывами и чирьями, поднялась на нары. Но это было потом, а пока еще было лето и относительно тепло.

### Жизнь в Ершовке

На следующий день продолжаем знакомиться со всем тем, что теперь нас окружало. Перво-наперво осмотрелись в жилище Некрасовой. Это была однокомнатная рубленая русская изба, крытая березовой корой, общей площадью около 20 квадратных метров, с одной дверью, из которой уже осенью отчаянно дуло, тремя оконцами, смотрящими на реку. Бревенчатые стены изнутри были обмазаны бурой глиной. Комната прямоугольная, с одной ее стороны, той что поближе к входной двери, теперь высился наш топчан, на противоположной — громоздилась на четверть объема избы русская печь, которую я тогда увидела впервые. На печи была устроена лежанка, где спала сама хозяйка Надежда вместе с дочуркой. Взбирались они туда по грубо сколоченной деревянной лесенке в три ступеньки. По диагонали от сооруженного для нас ложа, у другой стены стоял похожий на наш топчан, на котором в груде какого-то тряпья спали все три мальчика. В «красном» углу — небольшой прямоугольный стол, сколоченный из очень толстых грубых досок и такие же две скамьи. Все было накрепко приколочено к полу. Посреди избы расположилась железная печурка — главный источник тепла, на которой можно было и приготовить что-то. Украшал жилье пустой кованый сундук — напоминание о некогда более славной жизни. Не могу вспомнить, висела ли в «красном» углу икона. Кажется, ее все-таки не было. Никаких признаков одежды, постельного белья — только ношенные ватники и такие же шапки. Даже поздней осенью мальчики ходили босиком, и потом долго отогревали свои красные, как у гусей, ноги возле железной печурки. Вся посуда — чугунок, миска, деревянные ложки да пара эмалированных кружек. С улицы над входной дверью — навес, сложенный из неотесанных жердей. Элементарного туалета не было даже во дворе, каждый выбирал себе ближние кусты. Воду носили из реки. Просматривался около избы неухоженный и давно заброшенный огород. И никакой скотины, только вечно голодная собачонка...

С деревней познакомились лишь на следующий день. Свое название она получила от извилистого ручья, впадающего в Васюган ниже по течению, метрах в трехстах от нашего дома. Возможно, когда-то в этой речке водились ерши, но за все время нашего пребывания там я ни разу не видела чтобы в ней ловили какую-нибудь рыбу. Ершовка расположилась на правом берегу Васюгана на второй надпойменной террасе. Избы, числом около двадцати, выстроились вдоль проселочной дороги, глядя окнами на реку. Всю деревню окружала обычная деревянная изгородь, а вход в нее со стороны дороги преграждали бревенчатые ворота. Три избы, в том числе и «наша», находились за пределами собственно деревни, за ее изгородью. Здесь жили «единоличники», то есть те крестьяне, которые не пожелали вступить в колхоз даже после выселения из родных мест. Мне запомнилась среди них старообрядческая семья, состоявшая из трех взрослых сыновей и возглавлявшей хозяйство матери. В колхозе они не работали, а занимались охотой с помощью «петель», капканов и других охотничьих приспособлений. Кроме того, промышляли кедровую шишку, собирали грибы и ягоды — все то, что щедро давал урман. Ружья им советская власть не доверила. Впоследствии это не помешало ей всех троих отправить на фронт, где они героически сложили головы.

Первой постройкой у ворот деревни оказалась изба-читальня, на дверях которой постоянно покоился большой навесной замок. Избы тянулись вдоль дороги лишь с одной ее стороны, по другую — был виден Васюган и мрачный урман за ним. Меня заинтересовала кровля изб: она была берестяная. Кора березы растягивалась на перекладинах и покрывала всю крышу. Случалось, ветер срывал целые куски этой кровли, тогда береста сворачивалась в рулон и моталась под порывами ветра, а на крыше образовывалась прореха, куда обильно поливал дождь или сыпал снег. Но, похоже, это не очень беспокоило хозяев. Все избы — обычные, в одну горницу, с русской печкой, вход прямо со двора, без крылечка или террасы. Были и пятистенки, но очень мало. Иногда к избе прилеплялось нечто похожее на сарай. Ни деревца, ни кустика — голый, пустой двор, в котором у многих были «стайки», в которых когда-то держали корову, но, увы, сейчас корова была здесь тоже редкостью — попробуй прокорми ее в этих условиях. Добавьте к этому огромный налог по маслу и молоку, оплатить который колхозники, а тем более единоличники, были не в состоянии.

В центре деревни высился новый, еще не посеревший от времени, бревенчатый полутораэтажный дом за крепкой деревянной оградой. Во дворе — добротная конюшня, две лошади. Это был дом коменданта, в котором размещалась и его приемная. Комендант по тогдашним понятиям жил богато и сытно. Еще бы — главное лицо округа. Далее в невысоком, барачного типа здании жили учителя местной школы и фельдшерица. Люди неподневольные, молодые — комсомольцы. Их жизнь очень отличалась от положения спецпереселенцев, они ходили по деревне весело, энергично, одним своим видом показывая свое превосходство и независимость. Еще одним приметным зданием, возвышавшимся над избами оказался магазин. Войдя в него, я была крайне удивлена: все прилавки были абсолютно пусты. В этот магазин мы потом вынуждены были ходить каждый вечер за своей убогой «пайкой» — 500 граммов хлеба маме, если она ходила «на работу» в колхоз, и по 300 граммов — мне, сестре и бабушке.

Обращал на себя внимание колхозный двор — новые крепкие постройки для скота, сараи. При входе у самых ворот — колхозная контора, где восседали председатель и счетовод, и каждое утро собирались колхозники для получения дневных нарядов на работы. В течение года, прожитого мною в Ершовке, успели снять с работы аж двух председателей, якобы за растрату средств нищего, нежизнеспособного колхоза и отправить их в тюрьму. Но что здесь было воровать? Да и выполнить план по госпоставкам тоже было невозможно! Помню, как два чекиста вели в наручниках этих красивых мужиков мимо дома, где мы жили. Одного, через некоторое время — второго. Удрученные, униженные, они покорно шли впереди своих мучителей, понимая, что ведут их туда, откуда не возвращаются.

За колхозным двором протянулся глухой овраг, круто спускавшийся к реке, на дне его поблескивал ручеек, весной бурно разливавшийся. Ближе к реке его перегораживала плотина водяной мельницы, а мельник, пожалуй, был здесь самым состоятельным человеком. Дом у него был пятистенный, то есть в две горницы. Почти сразу за обрывом деревня заканчивалась, но несколько изб уходило в сторону леса, среди них выделялась новая, сложенная тоже из бревен, школа. В школе учились в две смены, утром с первого по третий классы, а после обеда — с четвертого по шестой. При школе в маленькой каморке, примыкавшей к классам, жила директриса со своим мужем алкоголиком. Строили все эти здания сами колхозники, топорами рубили лес и обтесывали бревна, впрягались вместо лошадей в сани и тащили их к месту строительства. Все как в далеком средневековье... За школой начиналась бесконечная и дремучая, с болотами-омутами, тайга...

За деревней, сразу за избами у колхозников были свои огороды, земли под которые они отвоевали, корчуя тайгу. Но и здесь нас настигло разочарование! Весной—летом 1941 года весь этот край был затоплен наводнением. Хозяйка нашего дома Надежда рассказывала, что воды даже в избе было до метра. Из огородов она отступила только к июлю, тогда и стали сажать картофель, который кое у кого еще сохранился, но до заморозков вырасти он не успел. Голод ожидал не только нас, ссыльных, но и местных жителей. Что касается колхозных полей, то их было очень немного, так как приходилось за каждый квадратный метр земли вести суровую борьбу с тайгой.

Комендант дал маме на обустройство и ознакомление с условиями жизни в деревне два или три дня. Мама, которая имела специальность учителя русской словесности, решила пойти к директору местной школы, надеясь устроиться в нее на работу. Тогда она по наивности не понимала, что мы все четверо: она, бабушка и мы, две девчонки—школьницы, «враги народа». А раз так, то не достойна она учить детей трудящихся. Я тогда всюду следовала за нею, пошла и на этот раз.

Миновав овраг и мельницу, мы свернули к школе. Школа — совсем новое, сложенное из светло-желтых бревен, чистое здание. Рядом располагались три избы, показавшиеся нам вполне солидными. В них поселились несколько высланных эстонских крестьянских семей, которые с нами никогда не общались.

Встретила нас сторожиха—уборщица, крупная, краснолицая, рыжеватая, узкоглазая женщина. Она доложила о нашем приходе директрисе Авдотье Михайловне. Авдотья Михайловна не заставила себя долго ждать и тотчас вышла из своей комнаты, пригласив нас в один из классов. Была она лет пятидесяти, среднего роста, полноватая, волосы закручены в узел на затылке. Представилась, очень внимательно посмотрела на заметно волнующуюся маму. Пригласила ее присесть, и они устроились за учительским столом, а я вышла, решив осмотреть школу и ее окрестность. За окном я увидела просторный, ничем не огороженный школьный двор и большую, аккуратно сложенную поленицу дров. Дальше, как везде — простиралась тайга.

По окончании разговора, когда обе вышли из класса, я по лицу мамы поняла, что она очень подавлена беседой. Простившись с директрисой, мы вышли из негостеприимной школы. На обратном пути мама некоторое время молчала, потом начала рассказывать: «Она меня выслушала и сказала, что им очень подошел бы такой учитель, как я, но принимать на работу учителей из спецпереселенцев не разрешено, их полагается использовать только на черновой колхозной работе». Так печально закончилось наше посещение школы. Мама совсем сникла.

Так моя мама — Александра Ильинична, урожденная Боброва, окончившая знаменитую в Риге частную гимназию Олимпиады Николаевны Лишиной с дополнительным классом «Русская словесность», затем несколько лет преподававшая в этой же гимназии, владевшая французским и немецким языками, пробовавшая себя в поэзии, игравшая на рояле любимые ею сонаты Бетховена, вдруг оказалась «деклассированным элементом», которому нельзя доверить обучение даже крестьянских ребятишек. Удар был велик, последняя надежда получить достойную работу потеряна.

А уже в сумеречное утро следующего дня грубый голос колхозного бригадира призывал маму на работу на колхозном дворе. Молча встав, надев свой зеленый вельветовый плащ, такой же берет и рижские галоши с тремя пуговками, она ушла в туманное августовское утро. Так стало повторяться ежедневно. Возвращалась мама уже в сумерках, и однажды вечером, придя с этой постылой каторги, села и обреченно сказала: «Нет, такого я долго не выдержу!». Да, ей действительно было очень тяжело: худенькая, очень хрупкая, она не могла долго вынести непривычную изнуряющую работу. Но за нее она получала дополнительные 200 граммов хлеба, и тогда наш общий паек представлял уже половину круглой черной буханки. И ради этой полуковриги мама каждое утро вставала по требовательному стуку в дверь, одевалась и уходила на целый день на колхозный двор. А мы, дети, оставаясь дома, выполняли свои нехитрые обязанности, готовили еду.

В августе еще удавалось купить мелкую, величиной с каштан, картошку. Варили из нее на костре похлебку, приспособив для этого взятую из дома единственную кастрюлю. Другой посуды у нас не было, ее в суматохе и неразберихе «отъезда» забыли взять. Жидкая, без жиров, картофельная похлебка с луком и кило двести черного хлеба — вот весь обычный дневной рацион на всех нас, четверых. Иногда мама выменивала у колхозников на наши носильные вещи, простыни или одеяла еще какие-то продукты: то несколько яиц, то поллитра молока. Сначала ей казалось это невозможным, но потом она поняла, что другого выхода, чтобы спасти нас всех, не было. Охотник-старовер, единоличник, с большой охотой отдавал маме за грубые простыни дичь. Приносил то зайца, то пару куропаток, то утку. Это нас спасало. С каждым днем становилось холоднее, по утрам деревню заволакивал холодный туман, вечера наступали все быстрее...

Примерно через две недели после прибытия в Ершовку маму вызвал на собеседование комендант. Я пошла вместе с нею. Она уже плохо себя чувствовала, сильно похудела, казалось, остались у нее на лице одни глаза. Комендатура в этой глуши гляделась роскошным дворцом. Добротный дом за крепкой оградой уже сам по себе внушал мистический ужас. Строение новое, но с большой задумкой на будущее. Мы поднялись по высокому крыльцу и вошли в приемную. Там уже яблоку некуда было упасть, так как, оказывается, были созваны все вновь прибывшие ссыльные.

А сейчас я попробую рассказать о тех, кого еще поселили в Ершовке. Из нашего рижского вагона здесь оказалось пятнадцать человек. В памяти остались не все, и пусть простят меня те, кого она не сохранила. Начну с нас, т. е. с семьи Никифоровых. Нас было четверо: мама Александра Ильинична, урожденная Боброва, бабушка Мария Иоганновна (Ивановна), урожденная Сидкевич, по материнской линии она происходила из известной в Риге купеческой семьи Окуневых, и мы — дети Тамара и Ирина. Казацкие Нина Николаевна (1894—1945 гг.) и ее сын Николай Михайлович (1916—1942) — тот самый Коля Казацкий, который нам всем очень помог в пути. Николай Михайлович был одним из самых способных молодых художников в «Школе С. А. Виноградова». Сергей Арсеньевич особо выделял этого юношу и его работы были представлены на выставке в мае 1930 года, а было тогда Коле всего 14 лет. Хорошо помню одинокую представительную пожилую даму по фамилии Штольцер. Она отрекомендовалась женой белого офицера. Из Васюганья она не вернулась.

Вспоминаются две молодые женщины. Одна из них — Александра Милгравис (1909—1979 гг.). Шура вернулась домой 23 мая 1955 года, героически выдержав почти пятнадцатилетнюю ссылку. Ее подругой была польская певица, бежавшая в Ригу из оккупированной Польши и оказавшаяся в ссылке вместе с нами. Семья Левенсон из трех человек: мамы и двух взрослых детей — дочери и сына. В Ригу никто из них не вернулся — май 1942 года стал для них последним. Навечно осталась в Васюганских болотах и госпожа Кремер, а ее дочка Фаня, моя ровесница, уже в 1947 году оказалась в Риге. Я уже упоминала четырнадцатилетнего еврейского мальчика Яшу, который остался на попечении вагона без еды, одежды и спальных вещей. В Ершовке он тоже был с нами. Его дальнейшей судьбы я не знаю, но есть основания надеяться, что Яша выжил.

Вообще из пятнадцати рижан, оказавшихся в ссылке в Ершовке, выжило шестеро, то есть смертность среди них составила 60%. Несколько человек из нашего вагона остались в Огнев Яре. Это семья Менгельсон — мама Луция (1892—16.10.1942), сын Янис (1921—04.12.41) и дочь Эрика, 1927 года рождения (она вернулась в Ригу 14.07.1946 г.); там же, в Огнев Яре поселили семью Симанис — маму Наталию (1903 г. р.) с дочерями Эдите (1928 г. р.), Айей (1936 г. р.) и Сильвией (1938 г. р.). Всем им удалось вернуться в Ригу.

Жило на поселении в Ершовке еще несколько русских и эстонских семей из Нарвы и три эстонские крестьянские семьи. Их судьбы мало отличались от нашей: Таня Бух и ее мама умерли от голода весной 1942 года, а Танина сестра Галя позднее оказалась в Айполовском детском доме; мой ровесник Женя Мяги, воспитанник детдома, вместе со мной закончил семь классов в Айполове, а его мама скончалась все в том же 1942-м. Трагически сложилась судьба семьи Брюниных — в мае 1942 года они погибли все четверо. Все эти люди и собрались тогда в приемной коменданта. Было тесновато. Кто успел, уселся за большой прямоугольный стол, остальные стояли, прислонившись к стене, и, пока не было «хозяина», довольно шумно переговаривались о наболевшем.

Наконец из апартаментов, где проживал с семьей, вышел комендант. Высокий, широкоплечий, рыжий детина, с грубоватыми чертами лица, изрытого оспой, одетый в форму чекиста. Ему бы сейчас под Москвой или Питером ротой или взводом командовать, а то и с пулеметом на смерть стоять, а он вот отсиживается вместе с семьей в этой глуши и «опекает» несчастных людей, не понимающих зачем и почему их — женщин, детей и старух — насильно сюда привезли. Подобных «патриотов», к сожалению, в России были тысячи. В руках комендант держал список сосланных в Ершовку, провел по нему перекличку и потребовал тут же, прямо сейчас, сдать паспорта. У многих рижан их не оказалось, так как незадолго до высылки документы были отданы для переоформления. Затем комендант объявил, что наша ссылка — на двадцать лет, и что мы не имеем права без его личного разрешения выходить за территорию поселка, даже в соседние поселки Огнев Яр и Медведка. Все взрослые обязаны ежедневно работать в колхозе под руководством председателя, бригадира или звеньевых. При невыходе на работу ссыльный лишался своей пайки хлеба, а кроме него никакой еды не было, да и купить что-либо было невозможно из-за того, что весь урожай в округе на сотни километров, как я уже рассказывала, был уничтожен весенним наводнением. Посыпались вопросы. У большинства ссыльных не оказалось никакой теплой одежды и обуви, только летние плащи и сандалии. Комендант выслушал нас, сделал какие-то пометки в своем блокноте. Следует сказать, что некоторые из нас, в том числе и Нина Николаевна, получили ватники и стеганые на вате чулки до колен. Маме не дали ничего, а у меня было только поношенное осеннее пальто.

### Суровые будни. Кончина мамы и бабушки

Сибирская осень в урмане только начиналась, но холод и особенно голод уже сильно о себе напоминали. Есть хотелось непрерывно. Нас прикрепили к магазину, где вечером, строго по списку, выдавали пайку. На нашу семью в лучшем случае выходило 1400 граммов, это была примерно половина круглой буханки черного хлеба. Но мамины силы таяли, она все чаще оставалась дома, и наш паек сокращался до 900 граммов. Бабушка, чтобы не голодали внучки, почти не прикасалась к своему пайку, но очень просила сахар. Фельдшерица, которую мы вынуждены были пригласить к бабушке, снисходительно выписала 100 граммов сахара, который мама разбила на мелкие кусочки, завернула в тряпочку и положила возле бабушки. Она брала кусочек в рот и запивала его водой или кипятком. Конечно, надолго этих ста граммов хватить не могло, а тут еще внучки, которых так хотелось угостить...

В августе в тайге созрели ягоды — малина, голубика, клюква, черника, на болотах — морошка. На лесных опушках, вырубках, возле пней появились грибы — опенки, вполне съедобные. Но сваренные в воде, без приправы, они были невкусными. Однако, ели — какая-никакая, а все-таки еда! В августе — начале сентября совсем замучил гнус: комары и мошка. Бороться с ними было нечем, помог бы деготь, да где его взять? А изматывал гнус нещадно, нередко на шее, около глаз, на ногах и руках образовывались страшные и очень болезненные синяки, которые к тому же нестерпимо чесались.

И все же в лес, правда ближний, ходили. Сначала несколько раз мы с сестрой пошли за малиной в березняк на болоте. Прыгая с кочки на кочку, цепляясь за ветви низкорослых берез, мы собирали сочную сладкую лесную ягоду. Но сколько мы ее в таком месте могли собрать?.. Однажды ветка, за которую держалась, обломилась, и я оказалась по пояс в ледяной воде. Дна я не чувствовала, что-то тянуло меня вниз; не знаю, как удалось тогда выбраться... Мокрая, замерзшая, вконец измученная, уже на заходе солнца добралась я до нашей избы. Слава Богу, обошлось... Пару раз, когда маму по колхозному наряду направляли в тайгу за черникой и клюквой для сдачи их на поставки, она брала нас с собой, чтобы мы набрали ягод домой. Мы с сестрой очень старались, но набрали немного — не умели еще, к тому же страшно мучил гнус, да еще под ногами хлюпала ледяная вода, а вся обувь наша — сандалии да летние туфли.

Спасти нас от голода эти ягодные походы не могли, но все же это было хоть что-то съедобное. Купить молоко, яйца у местных крестьян стало почти невозможно, да и денег не было. Какое-то время мама не решалась менять наши носильные вещи и постельное белье на продукты, которые предлагали местные жители, хотя многие из наших товарищей по беде давно же освоили этот способ выживания. Наконец, поняв что другого выхода нет, решилась на это и наша мама. Местный охотник-старообрядец (я его уже упоминала) за простыни приносил нам дичь. Однако, этого было тоже мало. Чувство голода все возрастало, я худела с каждым днем. Маме приходилось труднее всех, она изнемогала, но старалась держаться.

В августе в нашей избе случилась трагедия. Николай, старший сын Надежды Некрасовой, стал жаловаться на невыносимые головные боли, он страшно мучился, кричал, порой бился головой о стену или скамью, похудел до невозможности. Спустя несколько дней он окончательно слег, не переставая ни днем ни ночью стонать и кричать, впадая в беспамятство. Видеть и слышать все это было жутко. Наконец в доме появилась врач, из ссыльных эстонцев. По-русски она не говорила и совсем не понятно, как она объяснялась с матерью больного. Осмотрев мальчика, она сообщила, что у него туберкулезный менингит и жить Николаю осталось несколько дней. Так оно и случилось. Сын повторил участь своего отца, который за три года до нашего прибытия в Ершовку также скончался от туберкулезного менингита. Наверное, имела место наследственность да и нечеловеческие условия, в каких жила эта несчастная семья. Надежда Некрасова к смерти сына и его похоронам отнеслась хладнокровно: ни слез, ни причитаний. Видно, душа ее давно окаменела...

С каждым днем становилось все холоднее, за ночь изба совсем выстывала, но отсутствие дров хозяйку не очень волновало. А изба на зиму совсем не утеплялась, завалинка давно осела, голодные, отупевшие от лишений хозяева оставались ко всему равнодушными. Мы с Ирой, сколько могли, собирали хворост, сучья. Все это мгновенно сгорало в железной печурке, на которой мы теперь готовили варево, именуемое едой. Однако печурка быстро остывала и снова становилось холодно. Я продолжала спать на полу, но это становилось невыносимо: из подпола через огромные щели несло лютым холодом. В результате я очень сильно простудилась, начался фурункулез, огромные, глубоко сидящие нарывы быстро расползлись по всему телу, а когда они созревали, из них выходил желтый гной, перемешанный с кровью. Любое движение причиняло боль. Пришлось перебраться на топчан. Двигаться я почти не могла, день и ночь проводила в одной позе: облокотившись локтями на колени, но долго выдержать это было невозможно. Мама пригласила врача. Пришла та же, уже знакомая эстонка. Помню, что у нее был сильный нервный тик: тряслись руки и голова. Врач объяснила, что помочь практически ничем не может, но дала марганцовку для промывки ранок.

Ко всем прочим несчастьям, мама обнаружила, что пропали некоторые наши вещи. Во время отсутствия Надежды, она решилась заглянуть в ее сундук и... на дне его их нашла. Баба, выходит, была еще и воровата. Потом мама нечаянно уронила свое обручальное кольцо. Сквозь щель в полу оно упало в подпол. Это ее очень взволновало, она увидела в этом — плохую примету. Васек полез искать, искал долго, но не нашел. Однако, зимой, когда открылся санный путь, он ходил на станцию «Тайга» и там его пытался продать. Мы об этом узнали много позднее.

Еще до того, как на меня навалился фурункулез, я не раз совершала одиночные прогулки по окрестностям. Задолго до происходящего, еще в Риге, меня заинтересовали география и история. Я увлекалась рассказами о Сибири, Севере, открытии Северного и Южного полюсов. Отец очень способствовал моему увлечению, приносил замечательные книги о путешествиях и путешественниках, брал меня в увлекательные, порой трудные для меня, прогулки в окрестностях озера Бабите. Папа как будто предчувствовал нашу судьбу и как умел закалял меня: я до октября купалась в реке Лиелупе, прекрасно плавала, бегала на лыжах. Он купил мне охотничью лодку, палатку, рюкзак. А в школе мой классный руководитель, зная про мои увлечения, подарил мне по окончании пятого класса (май 1941 года) книгу В. К. Арсеньева «По горам Сихотэ-Алиня». До ареста я успела ее прочесть. Так что мои походы по окрестностям Ершовки были не случайны.

Сходила я на ближайшую речку Ершовку, которая впадала в Васюган. Она оказалась очень живописной. В устье дно и берега ее покрывал желто-серый песок, мерцающий на солнце, и чудились мне в нем золотинки: а вдруг! О золотых россыпях в сибирских реках я была начитана. Пройдя вверх по течению, скоро я оказалась в тайге и болоте. Здесь берега Ершовки поросли кустарником, вода была уже не серебристой, а почти черной, дно илистое. Передо мною вставали дикие пугающие дебри. Пришлось вернуться. А жизнь становилась все сложнее и страшнее. Появились вши. Впервые я их увидела в Ирининой голове. Мы попробовали их вычесать, но паразиты не переставали размножаться и скоро распространились на всех, оккупировав носильные и спальные вещи. В деревне у кромки берега стояла банька. Она всегда пустовала, но мама упросила мальчиков истопить ее. Мы собрались в баню, все, кроме бабушки. На тележке повезли вещи, чтобы их прожарить. Это была первая в моей жизни баня. Мыла не было, но и без него ощущение осталось прекрасное. Однако, от вшей мы, увы, не избавились. У нас все меньше оставалось сил, чтобы побороть полчища этих гадких тварей...

Подходило время начала занятий в школе. Пришла учительница, записала в тетрадь все данные обо мне и сестре и объявила, что посещение школы обязательно. Я попыталась возразить: мол, нет пальто, обуви, да вот еще и чирьи по всему телу... Она ничего не ответила — ее дело предупредить... А голод и холод делали своё. Хлеб, который получали в колхозе, мы уже не ели, как все люди, а делали из него жидкое варево: оно нам казалось сытнее. Но, к сожалению, всего лишь казалось... Миновал сентябрь, затем октябрь, близился день Седьмого ноября, и хотя в школу мы с сестрой так и не пошли, нас пригласили на «праздник», пообещав «угощение». Выпал первый снежок, мягкий, сырой. В сопровождении мамы мы отправились в школу. Там детям выдали по тарелке пшенной каши и еще что-то. Каша мне показалась очень вкусной. А рядом стояла мама, с которой я хотела поделиться, но, увы, она отказалась: «Это только для детей, мне нельзя...».

Тарелка школьной каши, конечно же, никак не освободила от постоянного чувства голода. Снова потянулись унылые дни... В школу мы так и не пошли, да и каши в будни там не давали. Вскоре я совсем слегла. Каждое утро отмечала, что пальцы становились все тоньше, на месте бедер появились впадины. Фурункулы не давали возможности поднять руку или сделать хотя бы один шаг. Я не плакала, даже на это не оставалось сил: просто как будто отупела от боли и голода. По телу безнаказанно ползали вши, на которых я уже перестала реагировать. Часто стала забываться, и в забытьи передо мной возникали чудесные картины — накрытые волшебными скатертями большие столы, на которых была расставлена обильная и невероятно вкусная еда, ну прямо как пир из «Сказки о царе Салтане», и я все это ела, ела, ела — всё подряд: и ароматные окорока, и жареных гусей и что-то еще, еще и еще... И вдруг просыпалась. Вокруг все те же унылые стены, а подо мной внушительная лужа. Организм поедал сам себя. И опять каждое утро отмечала, что стала еще тоньше, вот и ребра уже торчат... И всё болит... И ходить уже совсем не могу... На нарах я лежала рядом с бабушкой: она в самом углу, тесно прижатая к стене, я — рядом. Ближе к краю нар валетом располагались сестра и мама.

Бабушка давно почти ни на что не реагировала и почти ничего не ела. После 6—7-го ноября она уже ничего не говорила, только тихо стонала и бредила. В ночь на одиннадцатое ноября я проснулась от ощущения прикосновения к чему-то холодному. Это была уже остывшая, окоченевшая рука, и я вдруг поняла, что бабушки больше нет. Однако никаких чувств у меня в тот момент не возникло, какое-то жуткое безразличие овладело мною. Я разбудила маму, сказала ей: «Бабушка умерла...», но и маму это существенно не тронуло: мы все давно уже были морально подготовлены к мысли о том, что часы бабушки сочтены. Утром хозяйский мальчик Вася пошел в правление колхоза и сообщил о кончине нашей бабушки. Уже через несколько часов к нашей избе подъехала колхозная подвода со сколоченным из досок гробом. Не помню, кто поднял и перенес через меня мертвое тело. У меня же сил встать с топчана уже не было. Хоронили бабушку наши ссыльные на кладбище у опушки леса, могилу обложили хвойными ветками, зелеными и душистыми. А я продолжала болеть. И не думаю, что выкарабкалась бы, но однажды в один из ноябрьских дней, уже после бабушкиных похорон, зашел к нам знакомый охотник-старовер, про которого я уже упоминала. Жил он с матерью и двумя братьями, мужиками рослыми и работящими, неподалеку от нас, за пределами колхозного поселка, на берегу Ершовки. В колхоз они не вступили, а промышляли то, что мог дать им урман: грибы, ягоды, целебные травы, кедровые орехи, рыбу и главное — дичь. Изгоям-единоличникам иметь охотничьи ружья не полагалось, но эти молодцы приспособились добывать зверя силками, капканами и всякими другими средствами, с какими издревле выходил на охоту человек.

Так вот, в тот памятный для меня день охотник-старообрядец заглянул к нам и, увидев меня лежащую на нарах почти без признаков жизни, произнес, обращаясь к маме: «Хозяйка, дети не должны умирать, попробую помочь...». И ушел. На следующий день он принес еще теплого, только что пойманного зайца. «Ну вот, — сказал он, — сейчас будет тебе угощенье». Положил зайца на стол и охотничьим ножом ловко вспорол ему живот, после чего вылил теплую кровь в зеленую эмалированную кружку. Затем подошел ко мне: «Пей!.. Пей, говорю!» Я пыталась сопротивляться, но затем, преодолевая отвращение, поднесла кружку с теплой алой жидкостью к губам и стала пить. И странное дело — жидкость показалась вкусной, а по всему телу сразу разлилось необъяснимое тепло. Когда я опустошила кружку, тем же охотничьим ножом он вырезал из зайца печень. Нашелся кусочек черного хлеба (нам на поминки по бабушке выдали целую буханку), на него охотник возложил заячью печень и круто ее посолил: «Теперь ешь!». Я уже не сопротивлялась и съела всё. Это стало моим таежным причастием, спасшим меня от казавшегося уже неминуемым конца. Во мне как будто что-то пробудилось. А разделанного зайца он нам тогда тоже оставил, за что мама расплатилась с ним очередной простыней.

Мамины силы таяли с каждым днем, она с трудом поднималась, но каждое сумрачное утро, когда бригадир, постучав в наше оконце вызывал ее на работу: «Эй, Никифорова! Что заспалась, пойдешь сегодня туда-то!..», покорно вставала, надевала свое зеленое демисезонное пальто, резиновые полуботики и, не попив, не поев, уходила, уже понимая, что обречена. Однажды (это был уже конец октября) всех ссыльных отправили на болото собирать клюкву, и мама целый день с мокрыми по колено ногами собирала ягоды в ледяной воде. Что она там тогда собрала, не знаю. До дому, вся мокрая и замерзшая, с горсткой ягод для нас с сестрой, еле дошла. Ночью ее душил страшный кашель, а утром выйти на работу она уже не смогла. На этом и закончились ее колхозные трудовые будни. Пытаясь спасти себя и нас, мама за бесценок обменяла почти новое демисезонное пальто, за которое мы получили горшочек сливочного масла, немного картофеля и два ведра темно-зеленой капусты.

Неожиданно к нам наведалась школьная директриса. Она узнала, что у мамы есть котиковая шуба, и решила, что эта вещь теперь больше подойдет ей. Но расплатиться женщина могла только деньгами, а нам нужна была еда. В конце концов мама согласилась отдать шубу за пятьсот рублей, из которых директриса дала маме 150, мол, остальное — потом, и шубу забрала. Долг тот нам так никогда и не вернули. Уже впоследствии я узнала, что когда мы, ссыльные, погибали от голода, местная «аристократия» — комендант, председатель колхоза, учителя и мельник, который гнал самогон для собутыльников, в число которых входил и муж директрисы, и понятия не имели о недоедании.

В один из таких тяжелых осенних дней нас вдруг навестила Нина Николаевна Казацкая. Весь путь от Риги до Ершовки мы были рядом и сблизились. Но знакомы мы были и раньше — еще в Риге мама навещала Нину Николаевну в ее мануфактурном магазине, где я, пока дамы были заняты беседой, любовалась красивыми тканями. О чем они говорили в тот серый васюганский день, я не знала, догадалась уже позднее. В эти же дни мама подыскала в самой Ершовке более симпатичную, нежели Некрасовы, семью, и мы перебрались в другую избу. Сборы для переселения легли на мои плечи, к тому времени я от болезни оправилась. Уже выпал устойчивый снежок, стало морозно, а одеться было не во что. У меня было только демисезонное пальто, Ира — в легких ботиночках. Я приспособилась ходить в маминых ботиках. Маму пришлось перевозить на саночках, поддерживая с двух сторон, чтобы не упала. Она была совсем слаба, подняться уже почти не могла и все говорила мне: «Боже, Боже, что с вами будет, когда меня не станет!..». Мне тогда казалось это невероятным.

Итак, мы перебрались на другую «фатеру», к бабке Анне Батьковой. Дом ее находился почти в центре Ершовки. Это была большая изба-пятистенка, одну половину которой занимала многочисленная семья колхозного бригадира, а в другой жили сами Батьковы: бабка Анна и четверо ее взрослых детей: сын Антон, дочери Таня и Нина и сын Николай, самый младший, ему тогда было лет шестнадцать. Взрослые дети дома почти не бывали. Семен все время жил в тайге — то на лесоповале, то на заготовке пихты, из которой выжимали знаменитое пихтовое масло. Татьяна, очень работящая, задорная, веселая, никогда не унывающая, была колхозной звеньевой и ее часто отправляли работать на участки, расположенные далеко от Ершовки. Младшая дочь Нина жила в Новом Васюгане и стала домработницей у бывшего ершовского коменданта, которого перевели туда с повышением. Сын Коля служил продавцом в Огнев Яре. Сама Батьчиха по ночам сторожила колхозный скотный двор и приходила домой только к утру. Даже никаких животных в доме не было, кроме белой курочки, которая устроилась в избе под печкой. Свою единственную корову из-за трудностей с добыванием кормов бабка Анна еще осенью свела в колхоз. Половина избы, в которой жили Батьковы, оказалась еще меньше, чем у Некрасовых, но она светилась оштукатуренными и побеленными стенами и отличалась чистотой. Четверть площади избы занимала печь, которую, впрочем, топили редко, потому что было достаточно тепла, исходившего от примыкавшей к ней добротной плиты с чугунным верхом. Обстановка была небогатая, как и у всех, но казалась веселее. Два окошка, украшенные горшками с геранями, смотрели на реку. Все Батьковы оказались людьми приветливыми, и мы без сожаления покинули вороватую Некрасову. Мама осознавала, что дни ее сочтены, и я думаю, что наше переселение к Батьковым не было случайностью: она понимала, что эти люди в отчаянный момент зла нам не сделают. Так оно и оказалось.

Антон споро соорудил для нас топчан, опять около входной двери. Сами хозяева как-то умещались на одной деревянной кровати, где на простых, почти неоструганных досках лежали поношенные овчинные полушубки, две-три подушки в пестрых ситцевых наволочках и лоскутное одеяло. Между окнами стоял стол без скатерти, в углу — тумбочка под посуду, ведро с водой, скамейка... Вот и вся обстановка. Сразу после переезда мама слегла и больше уже не поднялась. На третий или четвертый день она, узнав что сосед Наливайко повезет свою больную жену в Новый Васюган, собралась ехать вместе с ними. Сидя с поджатыми к груди ногами, она тихим голосом говорила, что ей надо положить в дорогу. Мы с сестрой молча делали все, что она просила — так хотелось, чтобы случилось чудо!

Но судьба распорядилась иначе. Около четырех часов ночи у мамы началась агония, она потеряла сознание, что-то еще пыталась сказать. Так продолжалось два-три часа. Потом она как будто вздрогнула и стихла. Хозяйка Батчиха, которая очень кстати в эту ночь была свободна от работы, помогла мне не сойти с ума от ужаса и отчаяния. Она что-то делала, говорила... Пришли соседки, помогли ей обмыть покойницу. Я же словно окаменела. Бабка Анна послала меня к председателю колхоза Жукову сообщить о маминой кончине. Как я оделась в старое мамино плюшевое пальто (своего не было), как напялила на себя мамины фетровые боты — не помню. Вышла из избы, холод стоял пронзительный, темно... Меня охватило отчаяние, но идти было надо, и я побрела к правлению. Наконец, я у цели, вот входная дверь. Робко открываю, вижу: посредине комнаты за столом сидит сам председатель колхоза Жуков, молодой, широкоплечий парень приятной наружности, а вдоль стен на скамьях устроились колхозники.

Я подошла к столу и пролепетала: «Мама умерла». Председатель не сразу понял, пришлось повторить и было видно, что известие его ошарашило: «Как, не может быть!..» Я молчала, сил произнести еще хотя бы одно слово у меня не осталось. Жуков пришел в себя, что-то говорил мне, потом отдал сидящим на скамьях мужикам какое-то распоряжение... Я уже направилась к двери, когда он остановил меня и подал записку, сказав: «Вот, пойдешь мимо магазина, получи на поминки буханку хлеба». Я его молча поблагодарила и вышла. Уже светало, из-за синих туч поднималось багровое студеное солнце. В избе хозяйка и ее соседки уже обмыли и прибрали маму. Упокоенная она лежала на нарах, больше положить ее было некуда. Не помню, где и как мы провели день и ночь. Из меня не вылилось ни единой слезинки, я будто оцепенела. По-настоящему я зарыдала только через месяц, ощутив невыразимое одиночество и сверхраннюю ответственность за себя и сестру, которая была моложе меня на полтора года.

А в тот день в дом входили соседи, пришла и Нина Николаевна Казацкая, кто-то еще из ссыльных... И Нина Николаевна вдруг обратилась ко мне с разговором, думаю — преждевременным. А может быть, она не хотела дать мне опомниться — не знаю. Слов ее точно я не помню, но смысл заключался в том, что якобы наша мама в предчувствии скорой кончины, просила Нину Николаевну взять над нами опеку и сразу после ее похорон забрать нас в дом, где жили Казацкие. Мне стало нехорошо, трудно было представить себе Нину Николаевну в роли попечительницы. И главное — я этого не хотела. Мама на эту тему никогда с нами не говорила... Впрочем, может быть, была еще какая-то, подспудная, причина и дело было совсем в другом... Нина Николаевна с сыном сами находились в бедственном положении. В Риге их взяли на даче, теплых вещей у них с собой не было. Да и никаких других — тоже. Не исключаю, что у них были кое-какие драгоценности, но они здесь не имели соответствующей цены. А у нас были бесценные тогда простыни, одеяла, кое-что из маминых носильных вещей, и вполне возможно, что этими причинами и была обусловлена опека над нами. Наводит на размышления и то обстоятельство, что после нашего отказа перебраться к ней, Нина Николаевна с нами больше не общалась.

Через сутки приехал возчик с гробом, сколоченным из грубых досок. В момент, когда маму уже увозили на кладбище, в доме вдруг появился комендант-чекист и заявил, что в силу того что мы несовершеннолетние, он должен произвести ревизию и перепись наших вещей. На просьбу сделать это после похорон он ничего не ответил и заставил меня находиться с ним рядом, когда он осматривал и переписывал наше добро. В первую очередь он искал драгоценности, и в его глубоком кармане утонули и мамины гагатовые серьги, и медальон с жемчугом, и швейцарские золотые часы — подарок отца, и еще что-то. Естественно, никакой расписки за все это он не выдал. По окончании этой «операции» я, не разбирая дороги и спотыкаясь на каждом шагу, помчалась на кладбище. Успела. Гроб только что сняли с телеги и поставили возле свежевырытой могилы, рядом с холмиком, под которым покоилась наша бабушка. Все ждали меня. Наконец, после чьей-то очень короткой речи гроб опустили в могилу, мы бросили в нее по горстке чистого васюганского песка, мужики заработали лопатами и вот уже рядом с бабушкиным холмиком вырос второй — мамин. Люди укрыли его хвойными ветками. И — конец. Мы с сестрой теперь сироты. Между первой и второй смертью в нашей семье прошло ровно две недели. Бабушка скончалась 11 ноября 1941 года, а мама — 25 ноября.

### Одни

Началась наша самостоятельная жизнь. Вскоре после маминой кончины нас вновь посетила школьная учительница. Ее требования были строги: в случае, если мы будем посещать школу, получим рабочий паек, и наоборот — в случае отсутствия на уроках без уважительной причины — пайка не будет. Пришлось подчиниться, и школа спасла меня от неизвестно каких последствий, но восстановить пропущенное за три месяца было уже трудно, и я вынуждена была пойти вновь в пятый, а Ирина — в третий класс. Главное же было то, что мы ходили в школу, а это уже обязанности. Не помню, были ли у нас учебники, как обстояло дело с тетрадями, а вот чернила из свекольного сока хорошо запомнились. В классах стоял немилосердный холод, так как директриса скупилась на дрова. Одеты же мы были смешно: я стала носить мамино старое плюшевое пальто, Ира бегала в ботиночках. Вместо шапки я носила белый шерстяной платок, оставшийся от бабушки. Хуже было с обувью: остались только мамины фетровые ботики на каблучках, но они мне были велики. Однако я приспособилась и «прощеголяла» в них всю ту зиму. И считаю, что нам с сестрой еще как-то повезло с одеждой, потому что у многих из наших ссыльных вообще не было ничего, кроме летних плащей, платочков, кофточек и сандалий.

Местные жители имели стеганые ватники, как правило уже сильно поношенные, валенки же были тоже далеко не у всех. Наша хозяйка ходила в старых мужских ботинках, заправив в них сшитые из овчины носки, это ее спасало от холода. Кое-кому из наших ссыльных тоже выдали ватники и стеганые ватные чулки, но досталась эта роскошь, к сожалению, единицам. Наш хороший знакомый Николай Казацкий всю зиму проходил в плаще, поверх летнего костюма. Был ли на нем свитер — не помню. Шляпу он повязывал шарфом. На ноги поверх сандалий наматывал какие-то тряпки. К жизни в Васюганье Коля приспособиться так и не смог, впал в глубокую депрессию и угас быстрее других. После всего пережитого нам с сестрой нужно было как-то определиться — что нам делать дальше, как жить. От пережитого горя и вдруг возникшей ответственности я впала в депрессию, которая через месяц разразилась истерикой. Наверное, это было началом выздоровления. От голода мы несколько оправились, хотя есть хотелось по-прежнему всегда, везде и очень сильно.

Старожилы-спецпереселенцы 30-х годов и наши ссыльные после похорон мамы не скупились на советы, как нам жить дальше. Особенно беспокоилась о нас Нина Николаевна Казацкая. Она опять стала настаивать, что готова взять нас под свою опеку, уверяла, что так хотела наша мама, и Нина Николаевна дала ей обещание не оставлять нас. Но я продолжала думать, что тут преобладали ее личные, корыстные интересы. Она почти требовала, чтобы мы перешли жить к ней. Пятистенка, в которой проживали Казацкие, стояла в самом конце поселка. Половину дома занимала семья хозяев, которая состояла из семи человек. Самый младший лежал в подвешенной к потолку люльке и беспрерывно плакал. У печи на подстилке лежал теленок, все было мрачно, грязно, воздух тяжелый. Казацкие жили во второй горнице и к ним можно было пройти только через все это. Но главным в наших сомнениях было другое. Мне казалось, что в словах Нины Николаевны не было ни искренности, ни душевности, ни сострадания. Ее интересовали наши вещи, которых у нас пока еще хватало для обмена на продукты. Да и особого желания уходить от Батьковой ни я, ни сестра не имели: тут было бедно, но чисто, тепло. Да и сами Батьковы относились к нам доброжелательно. Настоять на своем Нина Николаевна так и не смогла и скоро отступилась и просто забыла о нас.

В школу вместе со мной ходили Фани Кремер из Риги и Женя Мяги из Нарвы. У Жени к тому времени тоже умерла мама, болевшая туберкулезом еще до ссылки. Из Нарвы были еще девочки-близнецы по фамилии Бух — Галя и Таня, но в школу они не ходили. А мы продолжали менять свои носильные вещи на продукты. Чаще всего это была мука или овес, продукт особенно ценный: если на старинной ручной домашней мельнице его размолоть, а потом просеять, то получалась овсяная мука, из которой мы пекли прямо на чугунной плите и, конечно же, без жира замечательные оладьи. А отруби шли на овсяной кисель. Бывало и так, что и оладьи делали с отрубями, но после этого всегда болел желудок. Когда наладился санный путь, обменивать вещи на продукты стало легче: за счет людей, которые проезжали через Ершовку, «расширился рынок». Иногда нам удавалось добыть даже мясо. А вот овощей, картофеля, капусты в зиму 1941—1942 гг. почти не было.

Стало побольше жильцов и в нашем доме. Хозяйка Анна Батькова, думаю, что из чувства жалости и сострадания, пустила в избу одну совсем нищую семью — мать с двумя детьми: одиннадцатилетним Колей и шестилетним Васей. Кто были эти люди, не знаю, но бедны они были отчаянно. Днем все трое почти всегда отсутствовали, а по ночам спали все вместе на крохотном пространстве почти никогда не топленной (изба обогревалась плитой) печи. У мальчиков от постоянного голода были совершенно тупые лица с огромными глазами. Они очень мало и редко разговаривали. Где они бывали днем, я не знаю, но старший подворовывал, где мог. Одежды на них почти не было, лишь застиранные до серости рубашки и штанишки, обуви — никакой, всю зиму проходили почти босиком, обмороженные ноги у них стали красными, подошвы в трещинах. Однажды видела: младший, Васек, сидит на дороге и выковыривая из конского помета овес, сует его в рот.

В середине зимы комендант собрал всех бездомных из нашего и соседнего колхоза и выселил их куда-то в совсем забытый Богом обезлюдевший колхоз. Отправили туда и эту семью. Мальчики ушли почти босиком, дошли ли они до места, им назначенного, кто знает... А зима была долгой. Я прослышала, что в ближнем от нас селении Медведка можно купить продукты. Чья это была выдумка, не знаю, но я дерзнула и одна отправилась в поход. Мне показали дорогу, сказали, что это совсем близко — всего 5—7 километров. Дорога шла по тайге, но просека оказалась довольно широкой с хорошей колеей. Иду, вокруг никого, только ясно-голубое небо, ярко светящее солнце, морозец. Лес, тишина... Одной было жутковато, но близость к чистой красоте природы действовала успокаивающе. Где-то через полтора-два часа я уже была на окраине Медведки. Бросилось в глаза, что селение побольше нашего, много улиц, избы тоже показались поопрятнее.

Так что же дальше, куда идти, ведь я никого здесь не знаю?.. Да и замерзла и подустала... Прошла по улице, постучалась в одну из изб. Дверь открыла немолодая женщина, впустила в дом, я сразу почувствовала тепло избы и рассказала о своей заботе. Хозяйка печально усмехнулась и объяснила, что я напрасно сюда пришла, Медведка тоже голодает после весенне-летнего наводнения, и никто мне ничего из еды не продаст и не обменяет, а ссыльных, в основном эстонцев, и у них предостаточно. Пришлось мне уйти ни с чем. Надо было торопиться: солнце начинало уходить за лес, а ночью в тайге одной — у-у-у! Это было мое первое самостоятельное путешествие через тайгу. Поэтому так хорошо оно мне запомнилось.

Во второй половине зимы Шура Милгравис и ее подруга полька Фрида сказали мне, что на днях они переезжают в другое селение, Моисеевку. Там нет ссыльных, и им пообещали работу счетоводами. Нам было жалко расставаться с этими женщинами. Шуре и Фриде тогда было по 32—33 года, весь путь от Риги до Ершовки мы проделали вместе. Но я уже понимала и то, что для них этот переезд — последняя возможность избежать неминуемого угасания в этой дыре. Что стало в дальнейшем с Фридой, мне неизвестно, а Шура вернулась в Ригу в 1956 году, отбыв в Васюганье пятнадцать лет. Единственная из взрослых нашего вагона, попавших на поселение в Ершовку, которая выжила. Все остальные навсегда остались в Васюганской земле. Сохранились несколько ее писем из Моисеевки к родителям, о которых я расскажу подробнее чуть позже.

Мы с сестрой Ириной продолжали жить у Батьковой и ходить в школу. Ближе к весне дочь Батьковой Татьяна заявила, что «угол» арендован нам по предварительной договоренности с нашей мамой об оплате, но так как мы денег не имеем, то должны рассчитываться своими вещами. Вероятно, это было правдой, ибо с какой стати им было о нас беспокоиться. За первый период проживания Татьяна взяла с нас фланелевое одеяло, потом мамино уже не новое демисезонное пальто, платье и еще несколько вещей. Впоследствии я узнала, что все ссыльные, действительно, оплачивали кто чем мог свои «углы».Время тянулось довольно однообразно, утром Ирина убегала в легких ботиночках в школу, ко второй смене отправлялась в школу и я. Вечером по очереди мы бегали в магазин за пайкой хлеба и делили ее на самодельных весах . Хорошо, что магазин был теперь от нас близко, и мы не успевали по пути к нему замерзнуть.

Но голод продолжал беспокоить, одолевала тоска по близким. После школы я заходила к знакомым ссыльным. Уже в январе 1942 года голодное истощение коснулось почти всех, порой доводя до животного исступления. Коля Казацкий однажды, не выдержав голода и, видимо, потеряв рассудок, вдруг украл кусок хлеба с прилавка магазина. Все стоявшие в очереди, увидев это, закричали на него. Коля, выскочил из магазина и побежал в сторону своего жилища, но споткнулся, запутавшись в своих портянках, повязанных поверх летних сандалий, и упал. Озверевшая толпа набросилась на него, избила, а хлеб отобрала. Местные жители, понимая, что вновь привезенные ссыльные скоро начнут погибать от голода, постепенно стали вытеснять их из своих изб. Некоторых из оказавшихся бездомными комендант поселил в вечно пустующую избу-читальню, в которой не было ни печки, ни дров, и никакой мебели, кроме одного стола и нескольких скамеек. Пустовала еще изба Беловой на противоположной стороне поселка, ее хозяйку как не работающую в колхозе, выселили еще в начале зимы в другой колхоз. В эту опустевшую избу переселили всех живших у разных хозяев в домах за оврагом, в конце деревни. Когда мне об этом сообщили, я после школы направилась навестить Казацких, которым, по слухам, было очень плохо.

Мне никогда не забыть кошмара, который пришлось увидеть тогда, в конце весны 1942 года. Дверь избы оказалась открытой настежь. В абсолютно лишенной какой бы то ни было мебели серой избе, от самых входных дверей до противоположной стены лежали в ряд, вытянувшись на спине Казацкие Нина Николаевна и ее сын Коля, мама Бух с дочками Таней и Галей, Штольцер и еще какие-то люди, которых я не узнала. Все были страшно истощены, оборваны, на лицах только скулы торчат, глаза полузакрыты. Они почти не двигались, не говорили, лишь издавали какие-то звуки — не то стоны, не то вздохи, а то и просто выли. На мой приход никто из них никак не прореагировал. Мне стало страшно. Я выскочила из избы. Чем я могла помочь этим обреченным, чем? Я и сама к концу зимы опять отчаянно исхудала, и меня шатало от голода и слабости.

Прошло несколько дней. Я возвращалась из школы, шла к верхнему, полуразрушенному прошлогодним наводнением мосту через овраг. Уже собиралась по дощечкам перебраться на противоположную сторону, как вдруг увидела, что следом за мной едет телега. Рядом с ней брел возчик, а за ним женщина, в которой я не сразу узнала Нину Николаевну. Она вздымала вверх руки, спотыкалась, падала, снова поднималась и громко причитала, почти кричала. Опомнившись, я разглядела в телеге что-то, замотанное в какое-то тряпье. Это был Коля Казацкий, навсегда покинувший этот мир. Бедный, бедный Коля!.. Трудно было себе представить, что это тот самый жизнерадостный и находчивый молодой человек, талантливый и уже замеченный специалистами и публикой рижский художник. Я долго хранила его последнее произведение, мой портрет, написанный им в Ершовке на обратной стороне клочка старых обоев обычным углем из печки. Портрет этот каким-то образом пропал в детском доме, о чем я до сих пор очень жалею. Страшная участь не миновала и семью Левенсон. Она погибала в соседней с нами избе. Когда я их навестила, добродушный и пытливый Лева уже умер, а немощная сестра его сидела на кровати, поджав колени и что-то тихо пыталась сказать (или прошептать). Понять ее было уже невозможно. На следующий день и ее не стало. Бедная мать от горя потеряла рассудок и скончалась, пережив детей всего на неделю.

Потрясла меня судьба семьи Брюниных из Нарвы. У них ничего с собой не было, так что менять что-то на пропитание они не могли и страшно голодали. Восемнадцатилетних девушек-двойняшек отправили в урман на заготовку пихты. Возможно, колхозники надеялись, что повышенный хлебный паек, выдаваемый там, их спасет, но было уже слишком поздно — девочки уже были истощены до крайности. Антон Батьков вывез их обеих из тайги, и через два дня они тихо скончались. Их мать и брат еще пытались бороться за жизнь, ловили лягушек, каких-то насекомых и прямо на месте их поглощали. Потом умер и мальчик. Мать, вся в черном рванье, с изуродованным горем лицом и безумными глазами, опираясь на клюку, ходила по избам, стучала в окна, выла, рвала на себе волосы, пыталась что-то сказать. Я хорошо помню ужас, который охватил меня, когда однажды она заглянула и в наше окно. Через неделю прямо на дороге она упала и затихла навсегда. К концу мая не стало еще многих. За зиму истощала и я. И возможно, что меня постигла бы та же участь, если бы Таня Батькова не заставила нас с Ириной выйти на работу. И вот мы идем на прополку колхозных полей. Впереди, как всегда, бодрым шагом шла Таня, за нею — женщины-колхозницы. По пути ели молодые стебли хвощей. Уставали страшно, но зато после работы нас ждал сваренный на костре обед — крапива, заправленная ржаной мукой. Наверное, эта крапива нас и спасла. Прошло еще какое-то время. В июне вверх по Васюгану, к Майску, пошли катера и баржи.

**Неожиданно нас вызвал к себе комендант и объявил, что меня и сестру, как несовершеннолетних, направляют в детский дом. Собраться надо уже сегодня, потому что завтра приплывет с верховьев баржа, которая нас заберет. Мы это известие приняли спокойно, без волнений и протеста. Местные жители, оказывается, уже знали о том, что всех сирот отправят в детские дома, но услышав, что это случится так скоро, всполошились. Известие о нашем отъезде мгновенно облетело всю Ершовку. Местных, конечно же, интересовало наше барахло. От предложений обменять то или другое не было отбоя, при этом они стали предлагать откуда-то вдруг взявшиеся картофель, шанежки и т. п. Даже не верилось, что все это можно будет получить и накушаться. Предлагая нам продукты, местные уверяли, что в детском доме все вещи у нас все равно отберут и переоденут в детдомовское. Так оно и случилось.**

В последний раз я сходила на заброшенное кладбище, нашла сильно осевшие за зиму могилки бабушки и мамы, обложила их свежей хвоей и над ними пыталась обдумать все, что произошло с нами за минувший год, но мозг отказывался воспринимать прошедшее. Все во мне словно окаменело. (Через много-много лет, в 1991 году, в Риге, на родовом участке Покровского кладбища я установила памятник бабушке и родителям, могил которых не нашла ни в Усольлаге, ни в Ершовке. Да и самой Ершовки уже давно нет...) Вернувшись, кое-как увязала узлы с вещами и попрощалась с остающимися спутниками по вагону: Ниной Николаевной, Штольцер, обоими Кремер и мальчиком Яшей, которому доверили должность продавца в магазине. Простилась и с хозяевами дома, приютившего нас. Спустилась к реке и стала ждать баржу, которая увезет нас — снова в неизвестность…

**Айполовский детский дом (июнь 1942 – август 1944 г.г.)**

…Небольшая баржа, ведомая буксиром и нагруженная что называется «под завязку», причалила к Ершовке. На нее погрузили наши узлы, значительно отощавшие за зиму, а также нас с Ириной, Женю Мяги и Галю Бух. На барже уже были пассажиры: осиротевшие дети из ссыльных эстонских семей, живших на поселении в Майске.

Кое-как разместившись на ящиках и тюках, сложенных на палубе, мы поплыли, на этот раз уже вниз по течению Васюгана. По еще не опавшей весенней воде баржа двигалась споро. День был теплый, солнечный, вокруг зеленела тайга, но о таежных красотах как-то не думалось, больше беспокоили мысли о нашем предполагаемом будущем. Уже почти ночью на остановке в Огнев Яре, где тоже жили на поселении ссыльные из Риги, к нам подсадили потерявшую мать и брата мою ровесницу Эрику Менгельсон, Эдиту и Сильвию Симанис и еще кого-то, чьих имен я не помню. Все они, как и мы, направлялись в детдом.

На палубе баржи мы провели сутки, когда подошли к знакомой по прошлому году остановке Айполово. Матросы объявили, что следующая пристань — Дальний Яр, где нам предстоит выгрузка и что стоянка будет очень недолгой. Между Айполово и Дальним Яром река делала крутую излучину, которая удлиняла путь в несколько раз, в то время как по проселочной дороге между поселками было меньше одного километра. К вечеру мы достигли Дальнего Яра. На берегу баржу поджидали ребятишки и несколько взрослых. От группы взрослых отделился интеллигентного вида мужчина среднего роста, со слегка вьющимися волосами, в очках. Он представился директором детского дома, сказал, что все вещи отвезут на склад, ручную же кладь (ее должно быть немного) мы оставим в клубе, а сами пойдем мыться в баню, после чего нас ожидает ужин и распределение по группам-классам.

Подошли и другие воспитатели, тоже представились, на телеге подъехал заведующий складом, сложил на нее наши узлы, и объяснил, что нам не стоит беспокоиться, все вещи будут храниться до того дня, когда мы будем покидать детдом. В действительности же все оказалось, конечно, не так: к тому времени, когда нас «трудоустроили» и мы покинули детдом, половины наших вещей мы не увидели, их просто разворовали.

Окрестности Дальнего Яра отличались от Ершовских, но было в них и что-то общее. По левому берегу так же зеленела тайга, ниже по течению, у излучины, виднелся крутой косогор, сложенный светло-желтым суглинком, у берега выстроились несколько добротных домов, один из них — двухэтажный.

Приезжих детей построили парами и повели в сторону клуба, к детскому дому, который состоял из нескольких построек. До клуба мы шли минут десять по сухой песчаной проселочной дороге, миновали несколько бревенчатых домов, окруженных картофельными полями. В клубе мы оставили всё, что несли с собой, и направились обратно к реке. Банно-прачечный комплекс расположился у самого берега. Встретила нас неприветливая кастелянша Зинаида Ивановна, которая провела нас в предбанник, где мы разделись. Потом вошли в просторную баню с окнами, горячей железной печкой, бочками с водой, кадушками и вениками. Банщица, радушная женщина, объяснила что и как и велела мыться. Выдали нам даже хозяйственное мыло. Так я не мылась уже более года! У Батьковой в Ершовке иногда обмывались в корыте, а тут — такое раздолье! Но после этого удовольствия меня ждало и разочарование, когда несимпатичная Зинаида, забрав мою одежду, выдала взамен ее другую, чистую, но совершенно заношенную: стиранную-перестиранную юбку и кофту неопределенного цвета, мало мне подходившую по росту. На мое возражение, она грубо ответила, что теперь мой удел — подчиняться и быть довольной тем, что дают. Так и осталась я в этом уродливом наряде.

После ужина мы вернулись в клуб, он был открыт, на полу валялся мой рюкзачок, совершенно пустой, от всего остального тоже почти ничего не осталось. Кто-то, пока мы мылись, учинил здесь настоящий разгром. Расстроенная, я отправилась в указанное мне помещение, где предстояло жить. После Ершовки здесь было даже совсем неплохо. В коридоре меня встретила «няня» (почему-то в детдоме всех уборщиц, сторожих, поваров называли нянями) и воскликнула: «Новенькая, в какой класс?». Я ответила, она открыла дверь в одну из комнат и показала мою койку: «Вот твое место, располагайся!», — и ушла. Комната небольшая, угловая, три окна, на подоконниках герань, три железные кровати, одна из которых теперь стала моей, вешалка, две тумбочки, стул — вот и вся обстановка.

Дом, в котором мы поселились, не был похож на избу. Он представлял собой прямоугольное бревенчатое здание, внутри него по всей длине шел коридор шириной метра два, заканчивавшийся окном, поэтому днем в нем было относительно светло. По обе стороны коридора располагались комнаты общежития, а между ними чуть выступали из стен обычные печи. В конце коридора был длинный умывальник, который летом выносили во двор. В тридцати метрах от здания располагался туалет, отдельный для мальчиков и для девочек. На моей, уже застеленной койке лежала одна простыня, ватная подушка и байковое одеяло. По сравнению с тем, в каких условиях мы жили весь прошедший год, все было вполне приемлемо.

Вскоре подошли две девочки, с которыми мне предстояло жить и общаться два года. Первая — Валя, худенькая, востроносенькая, остриженная наголо (месяца два назад она чем-то переболела). В своем сером платьице она была похожа на мышку. Вторую девочку звали Тамара, моя тезка. Крупная, с черными, чуть вьющимися волосами и довольно грубыми чертами лица, которые как бы подчеркивались ее чуть хрипловатым голосом. Обе, как выяснилось, тоже должны пойти в шестой класс, и пока нас, шестиклассниц, было всего трое. Мою сестру Иру определили к четвероклассникам, и видеться нам теперь приходилось довольно редко. Кроме того, в детдоме почему-то возбранялось общаться с детьми из других групп, и если я хотела увидеть сестру, мне надо было заручиться разрешением воспитательницы. Впрочем мы научились обходить эти запреты и встречались тайком.

Знакомство с Валей и Тамарой прошло без каких-либо эмоций. Девочки между собой дружили, я же с ними просто общалась, как с соседками по комнате, группе и классу. Воспитатели относились к нам неплохо, но они очень часто менялись, поэтому не очень запомнились. Функции у них были простые: объявить подъем, всех построить и отвести на завтрак, обед или ужин и проследить, чтобы все были на местах. В общежитии жили девочки и мальчики шестых и седьмых классов, то есть старшеклассники. Дети из младших классов, начиная с первого, располагались в других помещениях, разбросанных по просторному двору детдома. Дошколята жили совсем отдельно, у них была своя воспитательница, и мы с ними не общались, да это и не одобрялось. К вечеру здание, в котором меня поселили заполнилось подростками. В комнату для мальчиков поселили Женю Мяги, а вот моих однолеток Эрику Мендельсон и Эдит Симанис определили в младшие классы, так как они не знали русского языка. Думаю, им там приходилось очень несладко, потому что младших селили в огромные помещения, чуть ли не по 25-30 человек, да и «контингент» был иной.

Первую ночь на новом месте я проспала крепким сном: масса новых впечатлений, сутки дороги и тревожный ночлег на открытой палубе баржи отняли немало сил. Утром, около половины восьмого, меня разбудили требовательный голос воспитательницы и звуки гонга со двора. Спросонья я не сразу сообразила, где нахожусь. На душе стало вдруг тоскливо от всего, и от строгой дисциплины, к которой я не очень привыкла, в особенности.

Нас снова построили парами и повели на завтрак в столовую, которая находилась недалеко от реки в так называемом административном корпусе. Рядом располагались детдомовский склад (куда свезли наши вещи) и двухэтажное здание, где разместились директор, бухгалтерия и прочий административный персонал. Тут же находились швейная и столярная мастерские. Рядом был большой четырехкомнатный дом, в котором первоначально жили семьи завуча и заведующей швейной мастерской, а позднее поселился новый директор. После завтрака девочек пятого и шестого классов, в том числе и меня, повели в швейную мастерскую, где нам надо было чинить одежду воспитанников, ее грудами приносили из прачечной, просматривали и по необходимости ставили латки. Одежда была страшненькая, но ведь — война!..

Заведовала швейной мастерской Марья Ивановна, властная, малообразованная и плохо воспитанная женщина, жена местного администратора. Ее помощницей оказалась Домна Артамоновна, совсем другой человек — мягкая, неуверенная в себе. Она, как я впоследствии узнала, была из ссыльных: муж был расстрелян, а ей определили «вечное поселение». Меня посадили за швейную машинку. Работа была примитивная — сажать латки на одежду воспитанников, — но у меня не ладилась: не было у меня способностей ни к шитью, ни к рукоделию. Да и желания особого тоже... Но Домна Артамоновна, как могла, объяснила и показала что и как надо делать, и вдруг что-то начало получаться.

Все воспитанники детдома после завтрака и «тихого часа» ходили на какие-нибудь работы: окучивать картофель, чистить на кухне к обеду и ужину овощи, поливать детдомовский огород и т. д. Слоняться без дела не давали. К осени работы прибавилось: мы и лен дергали, и сено в копны складывали, и картофель копали...

За лето я познакомилась с окрестностями. Дальний Яр, как и Ершовка, Огнев Яр, Медведка и другие васюганские селения был построен в тридцатые годы пригнанными сюда из южной части Сибири и Алтайского края раскулаченными крестьянами, судьбу которых тоже определяли голод, холод, болезни и очень высокая смертность. Но, по сравнению с Ершовкой, зажатой между болотами, Дальний Яр был построен на месте выкорчеванного соснового леса, который местами уже вновь поднимался. Менее чем в километре от поселка возвышались так называемые увалы — холмы, на которых когда-то росли могучие леса, почти все вырубленные. Нянечки нам рассказывали, как они рубили и очищали от веток деревья, а потом на себе тащили бревна к стройплощадкам. Именно так были построены все дома детского дома.

На вырубках и делянках, среди пней, багульника и зарослей кустарника, созрела земляника, и за ней ходили все детдомовские ребята, в том числе и я успела кружку ягод набрать. А какая красота была вокруг, сухо и комаров почти нет. Можно встретить шуструю белочку, очень смешного зверька — бурундука, у которого на спине пять черных полосок. Нас детей он не боялся, подходил совсем близко, видно, ему было любопытно, что мы тут делаем. А какие запахи! Багульник, вереск и что-то еще таинственное и волшебное...

Как-то на увалах случился пожар, это было страшное зрелище, но набежали тучи, принесли дождь, и пожар потух.

За малиной ходили на косогор около реки. Часть его была распахана под какие-то сельхозкультуры, но на опушке леса росла сочная лесная ягода. Чернику, а ее было очень много, надо было собирать в болотистой тайге, где одолевали тучи комаров и мошки. Туда я ходила всего лишь один раз. Почти рядом с Дальним Яром был поселок Айполово — старинное остяцкое селение. Жили там и русские крестьяне. В Айполово мы ходили в школу, через все тот же сосновый лесок.

Как я уже рассказывала, нас поднимали в половине восьмого и после утренней уборки все шли на завтрак, который состоял из кружки чая — сладковатого напитка, чем-нибудь закрашенного, и двухсот граммов черного хлеба. Всеми особенно ценилась его горбушка. Конечно, это было далеко не обильно, но зато — ежедневно. В час дня собирались на обед, который всегда состоял из двух блюд. На первое — какой-нибудь жидкий суп с овощами, иногда с вермишелью, мясо в нем тоже бывало, но... около двух килограммов на 180 ртов. На второе подавали по поварешке мучной затирухи, или тушеную морковь, капусту, зимой всегда подмороженную. Хлеба в обед и ужин выделялось уже всего по сто граммов на человека. Полной сытости такой обед не давал, и когда мы выходили из-за стола, казалось, что кушать еще больше хочется, и мы сразу же начинали ждать ужин. На ужин нам выставлялось опять какое-нибудь второе и сто граммов хлеба, редко — по стакану молока, иногда по шесть-семь оладушек, что казалось совсем большим праздником. Ощущение голода ощущалось всегда, но от полного истощения мы были, к счастью, ограждены.

За два года моего пребывания в детдоме от голода не погиб ни один из воспитанников. Умерли трое детей местных остяков, но их подкосил туберкулез, который издавна стал злым спутником коренного населения этого края. Было заведено у детского дома и подсобное хозяйство, продукты с которого частично попадали и в нашу столовую. Я не знаю, сколько в нем было коров, но помню краснощекую, всегда улыбающуюся доярку — высланную немку. Она в чистом белом халате и такой же косынке шумно входила в кухню, занося ведра с молоком, но почему-то это случалось не ежедневно. Молоком забеливали чай, на нем варили каши и иногда давали по стакану в чистом виде. При детдоме были свои огороды и картофельные поля, урожай с которых осенью убирали сами дети — привольное время, когда жгли костры, грелись у них и пекли картошку — это никак не возбранялось. Зимой из ближайшего колхоза привозили кормовую морковь и, как правило, уже подмороженную капусту.

Большим лакомством считался овсяной кисель. Овес выписывали для лошадей, но администрация умудрялась выделять какую-то его часть и для детского питания. На советские праздники — октябрьские или первомайские, а также к Новому году — из сэкономленных на повседневных пайках продуктов для детей пекли пироги и шанежки. Повара, как добрые волшебники, доставали из огромной русской печи великое множество разной сдобы — с капустой, картофелем, просто булочки — с повидлом или без него. Пекли все это роскошество из пшеничной и ржаной муки, и столько, что два-три дня все дети были по-настоящему сыты. До следующего праздника.

Детдомовские будни продолжались и я ко многому привыкла: и к тому, что летом очень докучали оводы и комары, что у меня не было никакой обуви, и приходилось ходить босиком до самой осени. Очень удручало отсутствие книг. В заброшенном клубном шкафу мне как-то посчастливилось найти прекрасно изданную, с фотографиями и иллюстрациями, книгу о папанинцах и их работе на станции «Северный полюс». Находка эта была для меня очень дорогой, я ведь с девяти-десяти лет интересовалась Севером. Я положила книгу в свою тумбочку, но однажды, войдя в комнату вижу: тумбочка раскрыта, книга на полу, и девочка по фамилии Акользина из нее вырезает картинки. От такого вандализма я пришла в ужас, а Акользина посмеивается и радуется: сделаю красивый плакат. А книгу уже больше невозможно было читать. Много еще случалось таких неприятных и непривычных мелочей, но приходилось мириться.

В конце лета девочек пятого и шестого классов, в том числе и меня, отправили на уборку льна. Поселили в полевой избе, без каких-либо удобств, на нарах. По утрам воспитательница поднимала всех и мы выходили дергать лен. Работа была непривычной и оказалась трудной. Я изрезала в кровь все пальцы, а девочки смеются — мол, привыкай! К счастью, командировка эта длилась всего неделю, и мы вернулись в детдом.

Близилась осень, вниз по реке уходили последние баржи, катера и курсирующий здесь белый колесный пароходик. На одном из последних рейсов увезли призванных на фронт директора и заведующего складом. Последний с фронта вернулся, а вот директору не повезло: он попал в эшелон, который немцы разбомбили в прифронтовой полосе. Мы его очень жалели: хороший и порядочный был человек

Тогда же увезли «на трудоустройство» несколько детдомовцев, достигших 16—17 лет. Среди них оказалась и Таня Дорошенко, помощница и любимица поварихи няни Фени. После отплытия того парохода в детдоме вдруг стало удивительно тихо, как будто все вымерло. Я в ожидании ужина оказалась возле кухни. Неожиданно на ее крыльце показалась няня Феня, главный повар детдома, высокая, худая, с большими ногами, вся какая-то нескладная, но очень требовательная, строгая, разборчивая, порой шумная и крикливая, но в то же время — добрая, любимица всех детей. Ее и побаивались, и обожали. Заслужить у нее похвалу и ласку означало многое. Говорила она с сильным украинским акцентом и в ее речи было много украинских слов. Я услышала громкий голос няни Фени: «А что ты тут делаешь, у меня ужин опаздывает, всех помощников на пароходе увезли, так хоть ты иди помоги!». Не ослышалась ли я — работать на кухне было мечтой каждого детдомовца. Я не заставила себя ждать, пошла следом за няней Феней, быстро надела чистый белый халат и стала выполнять ее указания. Моя работа пришлась поварихе по душе: девочка я была расторопная, аккуратная и сообразительная. Няня Феня усадила меня за кухонный стол, налила стакан молока, дала кусочек масла на мой хлебный паек и полную миску того, что было на ужин. Ох, как я наелась тогда, как все было вкусно! Больше года, не пробовала масло!

Няня Феня обо многом меня расспросила, сказала, что все понимает, что и ее выслали сюда в 33-м, а на прощание попросила меня придти утром. Я такого теплого к себе отношения не испытывала давно. Конечно, утром пришла, а няня Феня договорилась с администрацией, чтобы меня назначили постоянной помощницей. Я тоже была довольна, так как понимала, что работая на кухне всегда буду относительно сыта. Но работа оказалась не из легких. Надо было из колодца натаскать воду, помогать при готовке пищи, мыть котлы. Очень важно было точно нарезать и взвесить каждую пайку хлеба, а их было около ста семидесяти. Однако довольно скоро я приспособилась и выполняла свою работу довольно споро. Это, конечно, не латки садить на старую одежду. А жить стало сытнее. Правда, среди моих сверстников нашлись и завистники, но что делать! Жизнь везде жизнь.

 После отъезда директора замещать его в детдоме стала завуч Матрена Графовна, видная, похожая на армянку смуглая женщина средних лет. Была она очень высокомерна, и не только с воспитанниками, но и с подчиненными ей воспитателями. Жила она в половине пятистенного дома у самой реки, ее соседкой была заведующая швейной мастерской, которая вместе с семьей последним в эту навигацию пароходом покинула Дальний Яр. Мне надменная Матрена запомнилась тем, что на складе взяла себе из наших с сестрой вещей серебристую лисицу нашей мамы, и, не стесняясь, стала в ней щеголять. Я не смолчала, но лисица на склад не вернулась, однако полагаю, что это стало одной из причин того, что Графовну скоро уволил новый директор, появившийся в детдоме в ноябре 1942 года.

Незаметно накатила осень, и, как всегда, первого сентября начались занятия в школе. Я попала во вторую смену. Шестиклассников из детдома оказалось всего восемь — три девочки и пять мальчиков. Остальные ученики были из поселков. Эрика Менгельсон, хотя и была старше меня на год, из-за слабого знания русского языка пошла лишь в четвертый класс.

Школа представляла собой новое бревенчатое здание, построенное в виде буквы Г. Вокруг него — небольшой двор, окруженный лесом. Здесь школу отапливали нормально, мерзнуть не приходилось. Учителя были разные. Историю преподавала директор школы Берестовская, ее уроки проходили бесцветно, а вот занятия по литературе и русскому языку вел Александр Иванович Жуков. Это был Учитель с большой буквы, уроки которого запомнились на всю жизнь. К сожалению, его очень скоро мобилизовали в трудармию[1](http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/nikiforova-memorires/nikiforova-barza-detdom.html#1). Что это такое, знал тогда каждый. Александра Ивановича сменила учительница Панова, которая ничем не запомнилась. В списке учебных предметов у нас отсутствовали иностранный язык, черчение, рисование, пение и гимнастика, зато было военное дело, где занятия проводил малообразованный военрук, инвалид войны. Впрочем, управляться с гранатой он меня научил. Интереснее обстояло дело с алгеброй, геометрией, физикой, географией, естествознанием и впоследствии с химией. В августе 1942 года в поселке появилась необычная для здешней глухомани пара. Он был лет тридцати пяти—сорока, высокий, в городском коричневом костюме, она — значительно моложе, в синем костюме. Видели их всегда только вместе. Поползли слухи: кто такие? откуда? Затем я, по тем же слухам, узнала, что будущие наши учителя бежали из горящего Харькова, когда в него уже входили немцы, оба они были из Харьковского университета, где он преподавал, а она была студенткой-дипломницей. Почему их занесло в Васюганье, где беженцев не было, лишь одни ссыльные, было тайной и осталось тайной. Милая интеллигентная пара стала учителями. Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. И он, и она преподавали доступно и интересно. С учебниками было трудно, но шестиклассники-детдомовцы обходились, так как жили в одном здании и могли обмениваться ими. Я в учебу втянулась быстро, вошла, как говорится, в колею.

Зимой рано темнеет, электричества в школе не было, поэтому последние уроки второй смены проходили в темноте, но иногда приносили коптилку — пузырек с керосином, в который был опущен фитиль. В общежитии вечерами мы садились у открытой печки и, ловя свет от пламени, готовили заданные уроки, если не переносили их приготовление на утро. Итак, новая школа, шестой класс, новые учителя и вообще — всё новое для меня. Благодаря удивительному учителю очень хорошо пошли алгебра и геометрия...

Кухню, однако, не бросала: няня Феня просила, чтобы я приходила ей на помощь. Теперь, если надо было работать с утра, приходилось вставать раньше шести и трудиться до обеда, когда же наша смена приходилась на вечер, я бежала на кухню уже после школы. Кухня и столовая все военные годы были самым привлекательным местом для детдомовцев. В лето-зиму 1942 года там даже существовал определеннный порядок, который с приходом нового директора изменился. На кухню в определенной очередности назначались дежурные и несколько воспитанников для того, чтобы напилить и наколоть дрова, почистить картофель. Возглавляла кухонное хозяйство все та же няня Феня. Она сильно страдала от язвы желудка и впоследствии легла на операцию, после которой на работу в детдом уже не вернулась. Ее «ушли», но об этом ниже.

Помощницей няни Фени, вернее — вторым поваром, работала няня Маруся, которая жила в том же общежитии, где поселили нас. В малюсенькой комнате площадью 5—6 квадратных метров жили трое: Марусина сестра, которая убирала общежитие, сама няня Маруся и ее сын Алик трех-четырех лет от роду. Мы с няней Марусей нашли общий язык, она тоже меня предпочитала другим помощникам, ее устраивала и моя готовность работать в удобные для нее смены. Работая в кухне, я многому научилась: правильно и быстро готовить, вести хозяйство. Приучили меня и к чистоте.

Как тогда водилось, 7—8 ноября был праздник и в честь него в заброшенном клубе навели порядок и собрали воспитанников на доклад и концерт, где я тогда впервые услышала песни «Синенький скромный платочек» и «Крутится, вертится шар голубой». Это был мой первый советский праздник, потом их было много. Он мне хорошо запомнился, потому что за хорошую учебу мне вручили подарок — батист на блузку.

Пришла зима и с нею морозы, а одета я была по-прежнему в мамино плюшевое пальто, бабушкин вязаный платок. Но вот удача: выдали, наконец, валенки! И хотя я в них утонула, они были не то 43-го, не то 44-го размера, но ноги теперь были в тепле. Не помню по какой причине нас, троих шестиклассников, вдруг объединили с большой группой пятиклассников и заставили перейти в другое помещение, громадное и холодное, где разместилось не менее тридцати воспитанников. Про уют пришлось забыть, здесь не было даже стола, чтобы готовить уроки. Шум, гам, ссоры девочек, постоянный холод и страшный туалет, один на три здания, в которых жили дети. Все это отозвалось во мне тяжелой болезнью. Она пришла постепенно: пожелтели ногти, глазные яблоки, кожа... Потом совершенно пропал аппетит. Началась лихорадка, меня трясло, я окончательно слегла.

Врача в детдоме не было, только фельдшерица. Почему-то она не положила меня в свой изолятор (одна комната на четыре койки), а оставила трястись от лихорадки и погибать в этой громадной, шумной и холодной комнате. От еды я отказалась совсем. Сочувствующие мне девочки собрали матрацы и пытались как-то утеплить меня, но тщетно: дело принимало скверный оборот. Фельдшерица принесла какую-то соль и заставила ее пить. Обеспокоились и повара — через девочек посылали мне морковь, уверяя, что надо ее есть, хотя бы и через силу. Болела я долго, но и на этот раз мой ангел-хранитель не дремал, начала понемногу поправляться. Так я и не узнала, что это было — желтуха или попали вместе с васюганской водой в меня какие-то паразиты... Но еще много лет печень не давала про себя забыть, стоило только съесть что-то жирное, молочное или просто обильно поесть. За время болезни я немного поотстала в учебе, но быстро освоилась училась снова хорошо. Через какое-то время смогла и помогать на кухне, где мне уже доверяли и кладовую, и склад продуктов. Поварихи объяснили: «Сильную всегда найдем, а вот честную — труднее!». Но в ту же зиму меня поджидала еще одна беда.

Контингент детдомовцев был очень пестрым. В основном это были дети репрессированных в разные годы сталинских пятилеток кулаков и других «неблагонадежных элементов». Но были и дети уголовных преступников. Они во многом задавали тон и их побаивались. Это они заставляли малышей выносить из столовой хлебную пайку и отдавать ее им. Воспитатели бороться с этим злом не умели. Иногда за малышей вступались мальчики старших групп, которые действовали силой — просто колотили хулиганов. Но это помогало ненадолго. К сожалению, такие типы не поддаются никакому воспитательному воздействию. Особенно неприятен был Акользин, его сестра-воровка мало в чем ему уступала.

Однажды, когда я дежурила на кухне, няня Феня, мучаясь от приступов язвы, где-то уединилась. У нас существовал порядок: если после раздачи основных порций суп в котле еще оставался, его выносили в столовую и разливали поварешкой добавку. Среди детдомовцев это обычно вызывало ажиотаж: «Мне, мне!», — кричали со всех сторон. Задача была непростая, так как наиболее шустрые старались получить дополнительно не одну порцию, а побольше, оставляя таким образом другие столы без вожделенных добавок.

Так случилось и на сей раз. Я вышла в столовую с добавкой. За первым столом сидели самые хулиганистые мальчишки. Стала разливать и вижу: прячут уже полученную порцию под стол и требуют еще, в другую миску. Я понимаю, что если стану попустительствовать, то на последние столы мне супа не хватит. И решила поступать принципиально: не дала Акользину ни вторую, ни третью добавку. И этот юный злодей решил мне отомстить.

Обед закончился, в кухне было еще много работы, так как кроме меня там никого не оказалось. Взялась за самую трудную и неприятную свою обязанность — мыть котлы, вмазанные в печь, и не заметила, как вошел Акользин. Он тихо подкрался и ударил меня с такой силой, что я отлетела не несколько метров и ударилась правой рукой о стену. Боль в запястье была такая, что в глазах потемнело. Акользин же, довольный, ушел: отомстил. Не помню, как я добралась до общежития. Фельдшерица нашла, что у меня сильное растяжение мышцы, но ничем не помогла. А я тогда всю ночь не спала, а потом рука больше месяца болела и ныла, ни писать, ни что-либо делать я не могла. А няне Фене было все хуже, и когда ее мучила язва, она забивалась в кладовку, ложилась там и стонала от боли. В таких случаях вся работа доставалась мне.

Однажды, именно в такое мое дежурство в кухню пришла старший воспитатель Вера Павловна и сообщила, что завтра комиссия будет проверять количество продуктов, закладываемых в котел, и чтобы я ничего не готовила до их прихода. На второе предполагалось готовить знаменитую затируху: из муки, замешанной на воде, делают мелкие комочки, которые бросаются в кипяток. Получалось что-то вроде сваренной лапши. Во время войны это было большое лакомство.

 Наступило завтра, я опять одна готовлю обед, а он обязательно должен быть точно в тринадцать ноль-ноль. Смотрю на часы — уже двенадцать. Если я и сейчас не начну, то никак не успею к назначенному времени. А комиссии все нет. И я решила, что сегодня ее уже и не будет. Не подумала, в каком государстве я живу и что время военное. Подождав еще чуть-чуть, взялась за муку, засыпала ее в корыто и стала обрызгивать водой и втирать ее в муку. Сколько вылила в то корыто воды, не приметила.

Вдруг дверь в кухню открывается и входит комиссия из пяти-шести воспитателей во главе с Верой Павловной. На грозный окрик «Я же предупредила — ничего не трогать!», — я ответила, что время не позволяет больше ждать. Тогда Вера Павловна потребовала собрать все содержимое из корыта в какую-то более удобную посуду, взяла весы-безмен и стала взвешивать, при этом потребовала показать, сколько было влито воды. К сожалению, я не помнила, сколько точно ее вливала, делала это на глаз. Тогда Вера Павловна заявила, что не хватает примерно полтора-два килограмма муки. Начался унизительный допрос. Я встала на защиту няни Фени, рассказав, как она больна. Но комиссия все же составила акт о том, что обнаружена недостача. Не знаю, что там было дальше, но дело получило ход. Думаю, что все это было грубой провокацией.

Скоро няня Феня вынуждена была уехать домой в Новый Васюган и лечь в больницу. Там ей сделали операцию. На работу в наш детский дом она не вернулась. В конце лета она появилась, вызвала меня во двор и, вынув из сумки несколько десятков завернутых в тряпицу новых ложек, какими мы пользовались в детдоме, попросила положить их незаметно в посудную. Объяснила, что дети часто крадут ложки (такое, действительно, случалось: со склада получали миски, ложки, другую посуду, но проходило совсем немного времени и их как не бывало. Няни ссылались на детей, мол, они растаскивают. Но я никогда в общежитии посуду не видела, странно все это было как-то), а она сдает дела и неизбежна проверка. Отказать ей я не могла. Няня Феня уехала, но столовая работать не перестала. Через какое-то время, с появлением нового директора, там многое изменилось. На кухне появились новые повара, в том числе и сестра самого директора.

Как-то, уже весной, меня пригласили в контору детдома. Я почему-то заволновалась. Предчувствие меня не подвело: в отдельном кабинете сидел мужчина (что это следователь я догадалась потом), который стал меня допрашивать по пунктам акта, составленного воспитателями за недостачу муки в тот злополучный день. Я сообразила, что мне надо отрицать пропажу муки и попытаться объяснить, что виновата лишь в том, что не могла определить точное количество залитой в муку воды. Следователь же склонял меня к обратному. Допрос был долгим, но я понимала, что малейшее слово, неправильно мною сказанное, погубит няню Феню, и стойко держалась своей версии. Можно было бы на этом и закончить, но ходили слухи, что в Новом Васюгане у няни Фени были большие неприятности.

В июле 1944 года группу старших детдомовцев, в том числе и меня, отправили в Новый Васюган для получения удостоверения личности. Паспорт даже детям спецпереселенцев не полагался, чтобы не сбежали из мест ссылки. Мы шли пешком по темной тропинке, дважды на лодке пересекали реку и к вечеру оказались в районном центре, голодные (паек съели в дороге) и смертельно усталые. На ночь нас определили в школе, в пустом классе. Я надеялась, что в Новом Васюгане смогу увидеть Нину Николаевну Казацкую и няню Феню, и решила их разыскать. Но надо было поторапливаться, потому что уже на следующий день, сразу после полудня, нам предстоял обратный путь — все те же двадцать километров. Поселок был невелик, и я скоро уже знала адреса своих старых знакомых.

Сначала отправилась к Нине Николаевне, быстро нашла дом, в котором она жила и увидела ее, идущую с работы. За прошедшие два года она страшно изменилась и превратилась в сгорбленную старуху, одетую в стеганку, из всех дыр которой торчали куски грязно-желтой ваты. Меня она узнала, мы вошли в горницу, в которой она занимала угол. Здесь проживало несколько человек ссыльных, но в этот момент никого из них дома не оказалось. Я поразилась ветхости и убогости жилья. На чем люди спали, на чем ели, сидели? Ни кроватей, ни топчанов, ни табуреток, ни скамеек, ни стола — ничего, только в углах кучки какого-то невообразимого тряпья. Я присела на край чего-то в углу Нины Николаевны, она устроилась напротив, тоже на что-то чудовищно ветхое. Разговор не клеился. Нина Николаевна рассказала, что в Новом Васюгане она уже больше года, что нашелся ее муж, он жив, но где и что с ним — не сказала. А ведь он был вместе с моим папой! Сообщила, что госпожа Штольцер умерла, и в Ершовке из рижан никого не осталось. Потом откуда-то достала миску с едой и стала есть, не обращая больше на меня внимания. Поняв, что наша встреча ей неприятна и неинтересна, я простилась и ушла. На улице еле отдышалась после всего увиденного и услышанного.

Впоследствии я узнала, что Нина Николаевна не дождалась своего супруга, скончалась, а он каким-то чудом выжил в Усольлаге, получил ссылку и поехал в Новый Васюган к жене, но уже не застал ее в живых и в 1948 году оказался в Риге. Что с ним было дальше, к сожалению, не знаю. А я в тот же вечер, придя в себя после встречи с явно потерявшей рассудок Ниной Николаевной, направилась к няне Фене, где меня ждало ещё одно горькое разочарование.

Я ожидала, что мы встретимся как старые друзья, но няня Феня, увидев меня на пороге, очень сухо поздоровалась, спросила какими судьбами я здесь появилась и даже не пригласила к столу, где дымились только что испеченные оладьи, от запаха которых сразу же засосало под ложечкой. Я от такого прохладного приема почувствовала себя очень неловко, сказала, что уже поздно и как бы мне не заблудиться в незнакомом месте, извинилась и тут же собралась уйти. Няня Феня меня не задерживала и поторопилась закрыть за мною дверь. Оказавшись на улице, я долго стояла, облокотившись о какой-то забор, и с горечью думала: почему это все так получилось? К месту нашего ночлега я подошла уже в сумерках, все мои однокашники уже спали.

После долгих размышлений, проанализировав все слухи, которые ходили по Айполовскому детдому, я поняла, что сухость и нелюбезность няни Фени была связана с тем роковым допросом, который учинил мне следователь больше года тому назад. Ее, конечно же, тоже допрашивали, возможно, она и в тюрьме побывала, пока собирали улики, и наверняка следователь ссылался на меня и говорил, что я выступила против нее. Конечно, в таком случае после всего пережитого, не зная правды, она не могла отнестись ко мне иначе.

Я уже упоминала о том, что поздней осенью, а может быть и в начале зимы 1943 года в детдоме появился новый директор. Он привез с собой многочисленное семейство: супругу, троих детей и сестру. Это был типичный чиновник-чекист сталинской эпохи. Выше среднего роста, широкоплечий, но не полный, со слегка вьющимися русыми волосами, довольно правильными чертами лица, взглядом жестким и неприятным. Был он немногословен, выговаривал слова четко, отрывисто, словно команды отдавал. Сразу же по его прибытии в детдоме появилось много изменений. В первую очередь они коснулись кухни. Уволены были оба повара, к которым мы все привыкли и даже успели полюбить: няня Феня уехала в Новый Васюган, а няне Марусе, про которую я уже тоже рассказывала, пришлось пилить и возить дрова для детдома, а крепким здоровьем она не отличалась. Вместо двух было назначено три повара — старший и два ведущих. Причем старшим назначили жену мобилизованного в трудармию учителя словесности Жукова, а одной из ведущих оказалась сестра директора Зинаида, по характеру весьма добродушная баба.

По указанию директора столовую перестроили: огромное холодное и неуютное помещение уменьшили вдвое, в результате чего оно стало уютнее, теплее и опрятнее. Вместо длинных столов и скамеек поставили новые квадратные столики со стульями. Перед входом теперь была раздевалка, где можно было оставить верхнюю одежду. Эти новшества всем пришлись по душе. Но вот питания, к сожалению, больше не стало, скорее — наоборот. Потом пошли другие изменения: открыли новую, в другом здании, швейную мастерскую, которую возглавила ссыльная эстонка, большая мастерица. Два раза в неделю по два-три часа мы все ходили к ней на обучение, и теперь уже не латки сажать, а постигать премудрости кройки и шитья. Учила эта женщина очень хорошо, но, увы, интереса к своей профессии, она во мне возбудить так и не смогла. Более того, я всеми способами старалась эти занятия пропускать. Однажды, увидев моё, с маминого плеча, плюшевое пальто, мастерица взялась его перешить. И я неожиданно получила не новое, но вполне красивое пальто, которое к тому же было утеплено. Моей благодарности не было границ. Этот эпизод заметно поднял мое настроение.

Летом 1943 года в Айполово на пароходе «Тара» (так называется приток Иртыша) привезли воспитанников расформированного где-то детского дома. Их было около ста человек. Вместе с ними прибыло несколько воспитателей. Среди новеньких оказалось немало воришек и хулиганов, что серьезно взволновало не только сотрудников нашего детдома, но и его воспитанников, так как и своих неисправимых в Айполово нам хватало. Их было немного, но мы хоть знали их всех... Новеньких разместили по возрастным группам и классам. У будущих семиклассников прибавилось две девочки — Валя Полякова, скромная, тихая, старавшаяся ничем не выделяться, и рослая, худая и рыжая Жанна Незнамова, в противоположность Вале, — разбитная, ехидная, завистливая и злая.

После трудоустройства и отъезда прошлогодних семиклассниц — Нюры Дорошенко, Клавы Ворошиловой, Жени Поповой, Инны Гладильщиковой и других, нас, новых семиклассников, перевели в барак, где я жила летом и осенью 1942 года, но в другую комнату, побольше, так как теперь нас стало пятеро. В нашей группе появилась новая воспитательница, прибывшая вместе с новыми воспитанниками, — симпатичная, всегда улыбающаяся Пана Андреевна, совсем недавно окончившая педучилище. Где бы мы ни были, она всегда заряжала нас бодрым настроением, ее сразу полюбили и девочки, и мальчики за неувядающий оптимизм. С нею у нас все спорилось.

Летом меня, как примерную ученицу и воспитанницу, назначили помощником воспитателя в младшие группы. Это считалось большой честью и налагало серьезную ответственность. Дали мне группу из шести-семи девочек, все маленькие, худенькие и беспомощные. Они так нуждались в ласке, что при моем появлении сразу же тесно прижимались ко мне и просили поцеловать. Одну поцелуешь, другие тут же, как птенцы: «А меня!.. А меня!..». Было их всех очень жалко, но я терялась: как их воспитывать, никто меня не научил, все должна была делать сама, а было-то мне всего пятнадцать лет, и маму потеряла всего два неполных года назад. Были бы книги, но их-то как раз, к огромному сожалению, так не доставало. Я напрягала память, вспоминала прочитанное еще в Риге и рассказывала своим девчушкам про дальние страны, чем сразу завоевала их расположение. Они садились в кружок и слушали меня, затаив дыхание.

Однажды случилось: оказалась у берега свободная лодка. Не долго думая, я посадила в нее всех своих девочек. Мы перебрались на другой берег, день был по-сибирски жаркий. Над нами летали огромные оводы, все время приходилось от них отмахиваться, и чтобы хоть немного отдохнуть от этой вынужденной гимнастики, я разрешила всем девчонкам искупаться. Дети вошли в воду по пояс, не глубже, а я решила немного поплавать. Вдруг слышу: «Ася тонет! Ася тонет!» В мгновение ока я очутилась около Аси, которая бессильно раскинув тоненькие рученки, то поднималась, то опускалась в воде. Схватив ее на руки, вынесла на берег и осторожно положила на траву. Девочка скоро пришла в себя и не совсем понимала, что с нею произошло. Ведь там, где Ася стояла, было неглубоко, но, видимо, от слабости из-за бесконечного голодания и резкой смены температур — от жары на берегу к прохладной речной воде, ей вдруг стало дурно. Этот эпизод послужил для меня серьезным уроком.

Ближе к осени меня, как и всех воспитанников, под руководством Паны Андреевны послали на полевые работы в подсобное хозяйство детского дома. Мы вязали снопы, потом убирали сено, которое тут же укладывали на волокуши, представлявшие собой огромный веник из разлапистых сучьев с листьями, привязанный к лошадиной упряжи. Так вот, на этот «веник» мы наваливали сено, и лошадь тащила его как сани. Удобный вид транспорта — одна волокуша сносится, вяжут тут же другую. Лето стояло удивительно жаркое, мучили оводы, все время хотелось пить, руки были расчесаны до крови. Но и это я выдержала. Опять незаметно подкралась осень, вновь — школа, седьмой класс, последний. По окончании его нас всех, семиклассников, отправят «на трудоустройство».

Выпускной класс требовал настойчивых занятий, тем более что учитель математики и физики спуску нам не давал. Но я любила его уроки. Помимо школы я продолжала выполнять свои обязанности на кухне, где были большие изменения — новые повара, новые требования. Отчасти стало легче, потому что на кухню стали больше привлекать воспитанников-дежурных. Но все равно я очень уставала. И эта зима не обошла меня болезнью: иногда у меня вдруг резко поднималась температура до 39.С и даже выше. Она, правда, скоро опускалась, но при этом наступал такой упадок сил, что я не могла подняться. Фельдшерица не умела понять причин моей хвори и, в сущности, оставила всё на самотек. Однажды директор, делая обход помещений общежития, застал меня, больную, в постели, и заявил, что я симулянтка. При этом он прекрасно знал, что я лучшая ученица в своем классе. Таков он был человек — не верил никому. Иногда я задумывалась: а себе-то он верит?

Где-то в середине зимы в детдоме объявилась медицинская комиссия, основной задачей которой, как мне показалось, было уточнение возраста воспитанников. Когда подошла моя очередь, я назвала день, месяц и год своего рождения, но медики решили мне «не поверить»: день и месяц оставили, а вот годик один прибавили. Я пыталась возмутиться, но в ответ услышала: «Нам лучше знать год вашего рождения, не обманывайте». Видимо такова была установка, чтобы побыстрее нас «трудоустроить».

Большой бедой этого края была трахома. И вот для ее выявления и профилактики нагрянула к нам еще одна медкомиссия. Она обследовала всех и вдруг выявила эту заразу чуть ли не у каждого третьего. Меня тоже пригласили к врачу, объявили, что что-то нашли, и назначили очень тяжелое лечение: раствором медного купороса и азотнокислого серебра смазывали внутренние части век. После такой «процедуры» резь и боль в глазах начиналась страшная, веки воспалялись, но я терпеливо переносила эту экзекуцию, поверив убедительным уверениям эскулапов о том, что если не буду лечиться, то мне грозят тяжелые последствия. И я стоически вытерпела весь курс предписанного лечения. А в итоге получила хронический коньюктевит.

Большую группу детдомовцев признали уже больными трахомой и назначили им лечение в специальном детском доме. С началом навигации их всех увезли. Но каково же было наше удивление, когда спустя полтора-два месяца все эти ребята вернулись: оказалось, что никакого заболевания у них нет, диагноз оказался ошибочным. Но кому тогда было дело до степени страдания этих детей, и без того обиженных судьбой?

Однажды совершенно неожиданно меня вызвала к себе директор школы. Я была озадачена — к чему бы это? С учебой у меня вроде все было ладно, да и с дисциплиной тоже... Вся в тревожном ожидании, переступила я порог директорского кабинета. Директор Берестовская плотно прикрыла за мной дверь, села за свой письменный стол и неторопливо достала из его выдвижного ящика небольшой сверток. Когда она его развернула и протянула мне, я ахнула от изумления и ощущения откуда-то взявшегося чуда, да-да, именно чуда — я увидела мамины золотые швейцарские часики, и агатовый черный медальон. Директриса выдержала паузу и произнесла: «Ты узнаешь эти вещи?». Я, заикаясь от неожиданности, ответила: «Да... Это мамины часы и медальон... Их забрал у нас комендант во время маминых похорон...» — «А еще что-нибудь тогда там было?» — «Да, еще пятилатовая монета, агатовые серьги и часики моей сестры...». Директриса снова завернула наши драгоценности и протянула сверток мне: «Забирай, очень пригодится». Не помню, где я хранила так неожиданно вернувшиеся ко мне мамины драгоценности, но впоследствии, действительно, они меня сильно выручили. Снова ангел-хранитель помахал мне своим крылом.

Несколько позднее этого эпизода из разговора с Женей Мяги, с которым мы тогда, несмотря на насмешливые взгляды сверстников, были очень дружны, я узнала, что он написал куда-то заявление, так как ершовский комендант проделал и с ним такую же манипуляцию. Дело получило ход, коменданту, как мы узнали, крепко досталось по службе, а ценности нам вернули. К глубокому сожалению, не все.

Незадолго до окончания учебного года случилась беда: арестовали и увезли учителя математики и физики, будто бы за дезертирство. Учитель он был превосходный, но заканчивать учебный год с нами пришлось его подруге-жене, которая, к сожалению, не была математиком... От ареста ее спасло, по-видимому, то обстоятельство, что ее брак с нашим любимым учителем не был зарегистрирован. Дальнейшая судьба этих хороших людей мне неизвестна, но вспоминаю я их всегда тепло и с сочувствием.

Ранней весной, в половодье, когда васюганские воды до края заполнили все овраги, в наш детский дом прибыла семья отставного офицера НКВД: он сам, его жена и дочь, Ольга Ивановна, которая тут же стала воспитательницей нашей группы, напарницей Паны Андреевны. Семья прибыла из Майска, находившегося выше Нового Васюгана, видимо отец Ольги Ивановны был там комендантом спецпереселенцев и за что-то отправлен в отставку. Я полагаю, что без содействия нашего директора, тоже работника НКВД, он бы в Айполово не оказался. Для сановной семьи немедленно освободили домик, где находилась больничка — там была комната, маленькая приемная и прихожая с плитой. Сомневаюсь, что жить им там было уютно. А вот куда делась больничка, не вспомню.

Ольга Ивановна была некрасивой, неуклюжей, полнеющей молодой женщиной, на вид около двадцати двух лет. Интересно то, что везде она подчеркивала, что она 1927 года рождения, то есть того же года, какой врачи определили мне. Ходили слухи, была у Ольги младшая сестра, которая заболела и умерла. Ольга взяла себе ее паспорт, а свой сдала в ЗАГС вместо документа покойницы. Возможно, именно этот случай и послужил причиной отставки ее отца и его срочного отбытия из Майска.

Все из того же Майска поступило в наш детский дом 25—30 эстонских ребятишек. По-русски они почти не говорили, истощены были до крайности. Директор, боясь ответственности, вызвал из райцентра медицинскую комиссию для их обследования. Комиссия постановила выделить несчастным детям дополнительное питание и стационар. Для стационара понадобилось помещение. Проблему решили быстро: освободили наш любимый барак, в который уже раз переселив нас в другие. Меня это не очень тронуло, так как я понимала, что мне жить в этом детдоме оставалось совсем немного. Надо отдать должное суровому директору — эстонских детей он спас. 2 июня 1944 года я получила свидетельство об окончании неполной средней школы, в котором оценки, увы, были умышленно занижены.

Еще весной сорок четвертого года по указанию директора всем старшеклассницам в швейной мастерской детдома сшили полувоенную форму — зеленые гимнастерки, синие юбки и выдали кирзовые сапожки. В такой униформе я выглядела достаточно нарядно. А суровый директор выводил нас на площадку перед детдомом и учил ходить строем. Мне эти экзерциции нравились, так как я с детства была не равнодушна к военным. Но когда обучение закончилось, форму заставили сдать на склад, и больше я ее не видела. Не отдали ее мне и на трудоустройство, где она бы мне очень даже пригодилась. Вообще лето 1944 года выдалось для меня весьма тревожным и сумбурным. Сразу по окончании учебного года директор собрал всех, кроме самых младших, воспитанников и сообщил, что через три дня мы отправляемся в летний лагерь, где будем совмещать работу с отдыхом. Все восприняли это сообщение без ропота и жалоб и стали собираться в дорогу.

В своем повествовании я упустила одно существенное обстоятельство: в детском доме не было ни пионерской, ни комсомольской организации и мы не носили красных галстуков и комсомольских значков, ибо в массе своей были детьми репрессированных родителей. Избавиться от этого клейма до 1956 года смогли очень немногие, и почти все по достижении шестнадцатилетнего возраста получали статус спецпереселенца.

Наступил день, когда большая группа старших детдомовцев, в том числе и я, во главе с директором, по таежной тропе, гуськом отправились в лагерь. Дорога предстояла долгая, не менее десяти километров по лесу. Тропа то поднималась на пригорки, то опускалась в мокрые низины. Под ногами часто хлюпала вода. Лес здесь был густой, солнце едва пробивалось сквозь ветви деревьев и зарослей. Вот показался ручей, через который было перекинуто дерево, по которому нам предстояло перейти. Первым перешел директор и подавал каждому воспитаннику руку, помогая выбраться на берег. Мне идти по шаткому дереву, высоко перекинутому над ручьем, было страшно, я всегда боялась высоты. И вот в самый последний момент, когда я уже протягивала руку директору, споткнулась и оказалась по пояс в воде. Директор меня подхватил, помог выбраться и пожурил за неловкость, а я была очень смущена этим казусом. Миновав злополучный ручей, мы оказались на большой солнечной поляне, посреди которой возвышался навес, крытый соломой. Место это называлось Кульстан и было центром подсобного хозяйства детдома. Нас уже поджидали ранее прибывшие сюда ребята. Они под навесом сколотили столы и скамьи, заготовили шалаши, в которых нам предстояло спать. Мне, как «повару со стажем» и еще кому-то предложили заняться приготовлением ужина. Мы быстро разожгли костры и приладили над ними котлы, в которых скоро забурлило нехитрое варево. Не помню, что ели в эти памятные дни, но еда была вполне терпимой и голодными мы не были.

После таежного перехода я уснула добрым здоровым сном. Утром директор собрал самых старших, и во главе с ним мы отправились на барже в луга, где лежало уже скошенное и подсохшее сено. Его предстояло собрать и погрузить на баржу. Солнце ярко светило, природа в этих местах оказалась чудесной. Спокойное течение реки, доброжелательная обстановка в окружении одноклассников Жени Мяги, Коли Нечаева, Миши Зинченко, Ильина и других поднимала настроение. Приближалось мое шестнадцатилетие, и окружение хороших мальчиков начинало волновать, хотелось быть интереснее, красивее, да и в работе лицо потерять было бы нелепо... Очень скоро, тем же летом всех наших мальчиков 1927 года рождения призвали на военную службу и отправили на фронт. А тогда в лагере мы провели около десяти замечательных дней. Сельских работ было много: и сено, и посадка картофеля и всякое другое, но мы будто и не уставали вовсе. Вечерами подолгу сидели у костра, распевали новые военные песни... Предчувствие перемен, связанных с трудоустройством, до которого оставалось не более двух месяцев, и грядущими за ним событиями уже очень волновали меня. Но опять случилось непредвиденное.

Группу старшеклассников во главе с воспитательницами Ольгой Ивановной и Паной Андреевной снова послали на Кульстан, теперь уже окучивать подросший картофель. Меня опять назначили поварихой при костре. На сей раз до Кульстана мы шли без сопровождения, по уже знакомой лесной тропе. Расположились по шалашам. Ночь прошла спокойно. Утром группа ребят во главе с Паной Андреевной отправились окучивать картофель. Поле находилось всего в десяти минутах ходьбы от нашей базы. В лагере остались только мы с Ольгой Ивановной. Я занялась приготовлением обеда и костром, который развели несколько в стороне от наших шалашей. День стоял жаркий, и ветерок дул в направлении соломенной крыши навеса. Ольга Ивановна что-то делала в своем шалаше. Затем она вылезла из него, подошла к костру и завела со мной разговор, но я, занятая своими мыслями о будущем трудоустройстве, слушала ее вполуха. Неожиданно воспитательница толкнула меня в бок и закричала: «Смотри!...», а потом торопливо добавила: «Я выкуривала комаров, но затем все притушила, когда выходила оттуда!..» Я оглянулась: над шалашом поднимались языки пламени, они мгновенно перекинулись на навес и от него ветер понес охапки горящей соломы в сторону наших шалашей. Все произошло за считанные секунды. Я инстинктивно кинулась к своему шалашу, выбросила из него что-то , кажется — шаровары, хотела было захватить и одеяло, но услышала треск прямо над головой. Вокруг бушевало пламя. Меня парализовал страх, чувство никогда до этого, ни потом в такой мере не испытанное. Ноги и руки не слушались, я не могла выползти из-под пылающей соломы. Но сознание сработало: «Сейчас сгорю!», и каким-то нечеловеческим усилием, все-таки вывалилась из шалаша, который тут же рухнул. Почти одновременно обрушился и навес. Я отползла подальше от огня и какое-то время неподвижно, не имея сил пошевелиться, лежала на траве и с ужасом наблюдала, как догорают все шалаши и масло в тазу, спасти которое тоже уже было невозможно. Сгорело всё. Но самое ужасное — огнем были уничтожены все продукты, запас на десять дней.

Прибежали с картофельного поля ребята. Среди них был Сидельников, которому при его четырнадцати годах дальше четвертого класса шагнуть никак не удавалось. Но любую крестьянскую работу он выполнял прекрасно, и тем часто бывал незаменим. Он, в чем прибежал, бросился в Васюган и, мокрый, стал затаптывать пламя. Остальные стояли вокруг и с отчаянием смотрели на происходившее. Когда пожар закончился и можно было собрать то немногое, что не успело сгореть, Ольга Ивановна подошла ко мне, попросила отойти в сторонку и с отчаянием в голосе стала умолять никому не рассказывать, что она выжигала комаров в шалаше, иначе ее посадят. Мне стало не по себе. Я никогда не была доносчицей. Так тогда никто и не узнал, как Ольга Ивановна сожгла лагерь. После пожара мы попытались оценить урон, нанесенный огнем. Сгорело почти всё. Осталось лишь несколько одеял, где-то в траве нашлись мои шаровары. Но, что самое печальное, сгорели продукты. Буханки черного хлеба покрылись черной угольной коркой, а внутри так пропахли дымом, что есть их практически было невозможно. Сгорело и все остальное. Воспитатели были в большой растерянности. Они понимали меру своей ответственности, в независимости от того, почему случился пожар.

Ночь, прохладную таежную ночь, мы провели на земле, подстелив какие-то ветки и укрывшись оставшимися одеялами — одно одеяло на четверых. Спали плохо: было холодно, не повернуться. Не видя другого выхода, воспитатели не решились вернуться в детдом всем вместе и отправили только старших мальчиков с поручением рассказать директору о случившемся и просить помощи. Уже не вспомню, как они ушли — на лодках или пешком. Отсутствовали они более трех дней. Мы ждали их с нетерпением, так как уже начинали голодать по-настоящему. К вечеру третьего дня они прибыли на лодках, рассказали о своих злоключениях и привезли немного продуктов, очень мало, так что опять приходилось терпеть. За эти три дня Сидельников накосил травы и мы построили новые шалаши, но трава на шалашах была еще сырая, да и комары мучили нещадно. Так неблагополучно закончилось вторая наша командировка на Кульстан. По возвращении встреча нас ожидала далеко не самая ласковая. К тому же помещения, где мы жили до этого времени оказались занятыми стационаром для ослабленных детей, и нам пришлось скитаться по другим общежитиям. Можно было сказать, что из детдома нас уже списали.

Разговоров куда кого будут направлять было много, но само распределение проходило в строжайшем секрете от нас. Когда встал вопрос о трудоустройстве, зашел разговор, что одного из нас можно распределить не то на пионерскую, не то на административную работу в город Александровск на Оби. Речь при обсуждении кандидатур на эту выгодную должность, видимо, зашла и обо мне. И тут я нечаянно услышала реплику ненавидевшей меня воспитательницы, ярой коммунистки, активистки и старой девы, которая лезла во все дела: «Она девочка хорошая, но еще не советская, ее надо воспитывать!..» Дело было в том, что эта воспитательница чуть ли не на второй день по нашему прибытию в детдом явилась на дежурство в моих розовых носочках, которые я оставила со всеми своими вещами на складе. Я тогда объявила всем, что Зоя Александровна ходит в моих носках. С тех пор мы люто возненавидели друг друга.

В конце концов откомандировали меня, Валю Полякову и Эрику Менгельсон в Колпашевскую зооветеринарную школу. Что это такое, никто из нас не имел никакого понятия, — пришла в детский дом разнарядка, а наши мнения и интересы никого не волновали. Куда отправили остальных выпускников я так и не узнала. Как это в то время водилось, о распределении мне сообщили за сутки до отбытия. Надо было успеть собраться: пароход ждать не станет.

Я подумала о том, что какие-то из рижских вещей, оставленных два года назад на складе, возможно, сохранились. Получив разрешение, с однокашниками Ильиным и Нечаевым, которые в то время заведовали складом, мы поднялись на чердак. Там лежала груда узлов, в которых, по всей видимости, рылись уже неоднократно. Я нашла, как оказалось потом, бесценное: родительское стеганое ватное одеяло и подушку. Увы, ни простыней, ни полотенец, на наволочек уже не было. Зато нашлись несколько маминых платьев, которые потом очень пригодились, туфли на каблучках, моя старенькая юбка и что-то еще. Все наиболее ценное и новое было украдено. И злополучную серебристую лисицу Матрена на склад так и не отдала… Но как бы то ни было, что-то я все же себе вернула.

Одели нас всех в серые, хорошо поношенные фланелевые платьица, на ногах — старые ботинки. У меня был деревянный чемодан, который отдала мне няня Маруся взамен легкого картонного, рижского. С таким вот неприглядным «имуществом» отправилась я в «трудоустройство». Единственной по-настоящему ценной вещью у меня оказались мамины швейцарские часики, чудом ко мне вернувшиеся и потом хорошо выручившие меня в Колпашеве.

На дорогу нам выдали по двести рублей и рейсовые карточки, по которым мы могли в айполовском магазине получить хлеб. Больше нам ничего не полагалось. Из детдомовской кухни никаких продуктов нам не выдали, и на пароходе мы почти сразу начали голодать. Пароход, все та же старенькая колесная «Тара», подошел к пристани Дальний Яр, матросы опустили трап и мы, теперь уже пассажиры, оказались со своими монатками на палубе. Раздался пронзительный гудок, трап подняли, и пароход, медленно развернувшись, отошел от берега. Я навсегда покидала болотистый Васюганский край, детдом, в котором прожила два года, а из группы провожающих махала мне сестренка Ира. За два года искусственно создаваемого отчуждения мы сильно отвыкли друг от друга, а дальнейшая судьба, к сожалению, нас еще больше разъединила.

Размышляя над тем, почему в детском доме не поощряли тесные контакты сестер и братьев, я пришла к выводу, что причина этого была в том, что каждый воспитатель отвечал за определенную возрастную группу численностью до трех десятков человек, за которыми нужен был глаз да глаз. А тут вдруг кого-то на месте нет — где он? Группу не бросишь — куда, в какую группу воспитанник убежал — неизвестно... Вот и держали воспитатели своих воспитанников плотно при себе, особенно малышей. А когда малыши подрастали, то братья или сестры становились уже не такими близкими друг другу. Довольно скоро поселок скрылся за поворотом реки. Я со щемящим чувством тоски продолжала стоять на палубе и глядеть на воду. В какую неизвестность теперь я плыву? Наступил очередной перелом, начиналась новая, полная неизведанного, самостоятельная жизнь. А мне ведь тогда и шестнадцати еще не исполнилось...

**Спустя несколько лет, а именно в 1950 году, мне пришлось вспомнить годы пребывания в детском доме. Я стала студенткой Ленинградского горного института. Учеба в те времена была платной, о чем я, поступая, не знала. Платить же мне было нечем. Но тут мне попалась на глаза справка о том, что определенные категории студентов освобождается от платы за учебу в вузах. В одном из ее параграфов говорилось, что к ним относятся и воспитанники детских домов. Однако документа, подтверждающего, что и я прошла через это, у меня не было. Тогда я рискнула написать в Айполово, не очень надеясь на положительный ответ — ведь столько лет прошло. Но телеграмма, подтверждающая, что я «...воспитывалась в Айполовском детском доме в период 1942—1944 гг.», пришла очень скоро, и дала мне право на получение столь важной для меня льготы.**

**Следом пришло письмо от уже незнакомого мне директора, который тепло поздравил меня с поступлением в ВУЗ и сообщил, что в детдоме еще работает кто-то из тех людей, кто меня хорошо помнит и что я очень своевременно обратилась к ним со своей просьбой, так как айполовский детский дом находится в стадии расформирования и вот-вот прекратит свое существование. К письму была приложена справка, подтверждающая написанное в телеграмме.**

**На этом закончилась моя детдомовская эпопея.**

**Конечно, тогда и представить было невозможно, что очень скоро, лет через пять-десять придут в Васюганье новые люди, поползут сквозь чащу и болота урмана вездеходы и трактора, оставляя после себя глубокие рваные следы, тянущиеся на сотни километров, вонзятся в недра глубокие скважины и вырвется из них черная кровь земли. Задрожит, заплачет вековая тайга, со скрипом и стоном повалятся деревья, оставляя после себя воронки, быстро заполняющиеся водой, а человек, на фоне могучей тайги такой слабый и беспомощный, при пиле и топоре окажется страшным разрушителем и уничтожит во имя своего благополучия то, что сотнями тысяч лет создавала Природа…**

|  |
| --- |
| *1Трудармия (Трудовая армия) — военизированные части, состоявшие из граждан, исполняющих трудовую повинность в годы гражданской и Отечественной войны. В трудармию направляли «подозрительных» или представителей некоторых национальностей, к которым «не было доверия», напр. немцев, крымских татар.* |

**Т. Ст. Никифорова**

**Тамара Стахиевна Никифорова (12 августа 1928, Рига - 24 октября 2015, Юрмала) - кандидат геолого-минералогических наук, с 1957 по 1991 год работала на Норильском горно-металлургическом комбинате и в Норильском индустриальном институте.**

Т.С. Никифорова уроженка Риги. Отец - Стахий Дмитриевич Никифоров служил в царской армии, позднее в Добровольческой армии А.И. Деникина. Мать - Александра Ильинична (ур.Боброва) родом из известной в Риге купеческой семьи. 14 июня 1941 г. семья Никифоровых была депортирована в Сибирь в Томскую область. В ноябре умерла сперва бабушка Мария Иоганновна Никифоровва, а вслед за ней мама - Александра Ильинична, оставив сиротами двух девочек Тамару (13 лет) и Иру (12 лет). Глава семьи С.Д.Никифоров уже в Риге был отделен от семьи и отправлен в Соликамск, где в 1942 г. по постановлению Особого совещания при НКВД СССР был расстрелян. Тамаре и Ирине в 1946 г., как детям-сиротам, удалось вернуться в Ригу. Т.С. Никифорова окончила Риге 25-ю вечернюю школу, а в 1955 г. Ленинградский горный институт. С 1957 по 1991 год Т.С.Никифорова работала на Норильском горно-металлургическом комбинате и в Норильском индустриальном институте. Была членом Всероссийского минералогического общества. Первооткрыватель месторождений типа медистых песчанников в бассейне реки Енисей. В 1976 г. Т.С.Никифорова защитила в Московском геологоразведочном институте кандидатскую диссертацию на тему: «Геологическое положение и особенности минерального состава медных руд Сухарихинского месторождения Игарского рудоносного района». В 1991 г. Т.С. Никифорова вернулась в Латвию и жила в Юрмале. **Автор книги воспоминаний «Баржа на Оби» о годах, проведенных в сибирской ссылке.**

## Заглянуть в минувшее.

## [Оксана Дементьева](http://www.russkije.lv/ru/journalism/author/dementyeva-oxana/) 15.10.2012

Несколько лет в рубрике «Русские портреты» наша газета рассказывает о русских людях, в разное время живших в Латвии. Многие из них - деятели культуры, предприниматели, общественники, - прославили нашу страну, стали ее достоянием. А еще после них остались дети и внуки... Об этих людях мы и расскажем в новой рубрике «Потомки».

**Внучка русского купца**

Моя собеседница Тамара Стахиевна Никифорова - внучка купца Ильи Боброва. Удачливый и талантливый купец 2-й гильдии Илья Иванович Бобров, начавший свой путь мальчиком на побегушках в лавке колониальных товаров, сумел создать собственное дело в буквальном смысле с нуля.

[](http://www.russkije.lv/media/original/b/barja-na-obi.jpg)

Наше знакомство с внучкой купца Ильи Боброва Тамарой Никифоровой началось с... памятника на рижском Покровском кладбище. «Репрессированным Никифоровым» - такая надпись высечена на темно-сером камне. Фамилия русская, отметила я тогда машинально, еще одно доказательство того, что в Латвии репрессиям подвергались не только представители титульной нации. А вскоре судьба свела меня с Тамарой Никифоровой, установившей этот памятник своим близким.

**Русская Сибириада**

Семью Никифоровых выслали из Латвии в июне 1941 года. Глава семьи Стахий Никифоров был белым офицером. Он воевал в Первую мировую, позже ушел на Дон, где участвовал в Первом кубанском (Ледовом) походе, за что был даже награжден. Предвидя Вторую мировую войну, он рассчитывал все свои военные знания и опыт, которых было предостаточно, отдать в распоряжение Красной армии, но...

14 июня ночью в квартиру Никифоровых ворвались. На сборы дали час, вещей на всю семью разрешили взять не более 100 килограммов. «Надевай на себя побольше одежды!» - повторяла маленькой Тамаре мама. Эта одежда пригодилась потом, когда ее меняли на продукты, а пока в большом общем вагоне оказалась вся семья - отец, мать, две их дочери и больная бабушка. Однако отца, главу семьи, увели, и спустя многие годы Тамара Стахиевна узнала, что его расстреляли 11 мая 1942 года. Тамару же ожидали Сибирь и смерть родных, которых ей, тогда еще совсем девочке, пришлось хоронить. Сосланные жили в поселке Ершовка Васюганского края, мыкаясь по чужим углам без пропитания и подчас теряя даже надежду. Несколько дней пролежавшая без движения бабушка однажды ночью тихо умерла, за ней последовала и мать. По случаю похорон оставшимся родным выдали буханку хлеба...

**«Баржа на Оби»**

В 2006 году Тамара Стахиевна издала сборник воспоминаний. «Новеллы, написанные по памяти», - так она сама определяет жанр своих мемуаров. Однако эти новеллы содержат лишь точные сведения: в книге приводятся уникальные документы, найденные Никифоровой в архивах. Изначально воспоминания о жизни русских людей, увезенных из Латвии в Сибирь, Тамара Никифорова планировала записать и оставить своим детям. А потом получилась книга, рассчитанная на широкий круг читателей. Читая ее, сложно остаться равнодушным. Все время примеряешь на себя ситуации, в которых доводилось попадать самой Тамаре Никифоровой и людям, с которыми сводила ее жизнь, и понимаешь: выжить в тех нечеловеческих условиях могли только очень сильные духом люди.

... После смерти матери Тамара попала в детский дом и только в 1946 году, после войны, благодаря любимой тетушке, сестре отца, она смогла вернуться обратно в Латвию. После окончания средней школы Тамара Никифорова поступила в Ленинградский горный институт, где получила не женскую специальность геолога-нефтяника. И... уехала в Норильск. Но на сей раз на Север она отправилась не по воле властей, а по своей собственной - вместе с мужем.

**«Нельзя человеку без родины»**

34 года Тамара Стахиевна провела на Севере. Она работала на Норильском горнометаллургическом комбинате и в Норильском индустриальном институте. Кандидат геолого-минералогических наук, доцент и действительный член Всероссийского минералогического общества, Тамара Никифорова сумела осуществить мечту каждого геолога - открыть свое месторождение. Она нашла хальказин - минерал, содержащий 88 процентов меди. Нашла, как сама говорит, чудесным образом - месторождение ей приснилось... Но сны - инструмент непрочный.

Для того чтобы делать открытия, нужны знания, опыт, талант, везение. И еще удачливость. Наверное, всем этим в избытке наделил свою внучку предприимчивый русский купец Илья Бобров, не чаявший души в своей кровиночке. Собственные дети не смогли перенять купеческой хватки Ильи Ивановича, и, лишь увидев новорожденную Тамарочку на руках своей дочери Шурочки, он воскликнул: «Да это же то самое, чего я так долго ждал!» И не ошибся - силе воли Тамары Никифоровой, которой недавно исполнилось 84 года, можно только по-доброму позавидовать.

Она помнит прежнюю Ригу. Помнит красивый дом бабушки и дедушки в историческом центре Риги и дачу родителей в Приедайне, элегантных рижанок в шляпках с вуалями, уроки Закона Божьего в школе и скаутское движение. Она помнит холод сибирских поселений и чувство бесконечного одиночество в детском доме. Но Тамара Никифорова не озлобилась, не очерствела сердцем и ни на кого не держит зла. Внучка купца и дочь русского офицера, она умеет прощать и не копить обиды.

Прожив значительную часть жизни в России, в непростые 90-е Тамара Никифорова вернулась домой, в Латвию. Вернулась насовсем. Поселилась в Юрмале, а на старинном Покровском кладбище поставила памятник репрессированным Никифоровым - погибшим в Сибири членам своей семьи, которых она любит и помнит. «Человек, в особенности русский, не может жить без корней, - рассуждает Тамара Никифорова. - И не может без родной земли, без этих сосен, без шума моря. Никак нельзя человеку без родины. А родина у меня одна - это Латвия».

**P.S.** Автор благодарит энтузиаста Пушкинского общества Латвии Светлану Видякину за организацию этой встречи.

### Сага о Никифоровых

### Юлия АЛЕКСАНДРОВА, 9.10.2006 г.

На прилавках книжных магазинов появилась новая книга — воспоминания Тамары Никифоровой "Баржа на Оби". Я прочла ее за одну ночь, не в силах оторваться.

О трагической судьбе Тамары Стахиевны я узнала задолго до появления книги. Архивное дело КГБ СССР 1941 года, заведенное на ее отца — видного русского деятеля довоенной Латвии Стахия Никифорова, попалось мне в Государственном архиве ЛР, имя автора книги — в списке ссыльных детей–сирот, которых в 1946 году Министерство образования ЛР чудом вывезло из Сибири в Латвию и передало на воспитание родственникам.

**14 июня**

"Сквозь уходящий сон чувствую, что мама трясет меня за плечи, и слышу ее взволнованный голос: "Скорее, скорее просыпайся!" С трудом открываю глаза. Мама продолжает меня трясти и говорит каким–то чужим, невменяемым голосом: "Нас увозят за пределы Латвии… на сборы один час… взять можно только сто килограммов вещей… но сколько это… остальное на станции выбросят…" Так описывается в книге раннее утро 14 июня 1941 года. День первой депортации из Латвии, в результате которой из страны было вывезено более 15 тысяч человек.

Русский офицер Стахий Никифоров воевал в царской, а потом белой армии, был членом рижского "Русского клуба" и общества скаутов. После аннексии Латвии Стахий Никифоров не сомневался, что его опыт офицера–артиллериста будет полезен Красной армии. Он даже собирался предложить свои услуги и отправиться в военный комиссариат! Впрочем, надежды послужить отечеству у Стахия Никифорова развеялись с первыми арестами друзей. Скаутов арестовали первыми, уже в июле 40–го года — за сотрудничество с Национальным союзом русской молодежи, который основной задачей считал подготовку национальной революции в России. Хотя взгляды многих скаутов изменились после победы нацизма в Германии: отношение к СССР стало более снисходительным, на вечерах нередко пели советские песни, а многие русские офицеры категорически отказались сотрудничать с рейхом и уезжать из Латвии весной 41–го года — с последней группой балтийских немцев.

"Я воевал против кайзеровской Германии и никогда не был и не могу быть предателем России!" — ответил представителю германского посольства Стахий Никифоров. Уже в мае 40–го года, после капитуляции Франции, он увез семью на дачу в Приедайне, надеясь, что вдали от столицы убережет родных от неминуемо приближающейся войны. Подготовка к зиме проводилась основательная: утепляли летний дом, заготавливали мешки черных сухарей, сахара, топленое масло, распахивали огород. Сюда вскоре после национализации родового дома на ул. Блауманя, 1, перебралась к сыну его мать — Мария Иоганновна, которая происходила из купеческой династии Окуневых. Отсюда всю семью и вывезли в Сибирь. У бабушки во время ареста от шока отнялись ноги, но это не остановило НКВД. Тамаре было 12 лет, ее сестре Ирине — 10.

"Берите все теплые вещи, а багаж мужа положите отдельно", — тихонько подсказал солдат–охранник, пока в доме шел обыск. Никто не понял почему. Оказавшись на станции Шкиротава, увидели множество товарных вагонов с зарешеченными окнами. Людей загоняли в них, как скот. В вагоне — двухэтажные нары, вместо туалета — прорубленная в стене дыра. На презентации книги Тамара Стахиевна вспомнила, что в их вагоне были в основном русские и еврейские семьи, и только две латышские. Дети плачут, просят пить и есть. Никто не догадался взять с собой продукты. Вдруг дверь открылась и прозвучал приказ: главы семей на выход с вещами. Стахий Никифоров поочередно попрощался с матерью, женой, дочерьми и ушел. Навсегда. В мае 1942 года он был расстрелян "за активную борьбу против советской власти".

**Сибириада**

Через неделю, доехав до станции Вятка, ссыльные узнали, что началась Отечественная война. Дорога к новому месту жительства продлилась больше месяца. Первую смерть 12–летняя Тамара увидела уже в дороге — на барже, где в тесноте и грязи везли из Новосибирска в глубь Сибири сотни людей, на руках у молодой матери умер младенец. Баржа пристала к какому–то берегу, и малютку закопали на берегу — как сдохшую собачонку. Остальных "пассажиров" везли в страшный край Васюганских болот. Многие ехали налегке. Не всем попался такой сердобольный солдатик, как Никифоровым. У одной дамы, например, единственной теплой вещью оказались две серебристые лисы. У некоторых вещи остались в общем чемодане, который механически захватили с собой мужья, когда их выводили из вагона. Других вывезли с дач — в сандалиях, плащах и летних костюмах. Всех ссыльных распределили по деревням, в избы местных жителей. Взрослых определили на работу в колхоз.

"Стоя посреди мрачной черной избы с тремя подслеповатыми оконцами, мы еще не могли себе представить, какие испытания нас ожидают, но уже осознавали, что судьба из XX века одним ударом откинула нас в век — какой? XV? XIV? Или еще дальше?" — пишет Тамара Стахиевна. Однокомнатная рубленая изба в деревне Ершовка, стены изнутри обмазаны бурой глиной, печь, на которой спала хозяйка с трехлетней дочерью, сбитый из досок топчан, на котором в груде тряпья спали трое ее сыновей–подростков, небольшой стол, две скамьи и железная печка–плита.

Новым жильцам мальчишки соорудили такой же топчан, шириной меньше полутора метров, на котором надо было умещаться вчетвером. Пайка — 500 граммов хлеба Александре Ильиничне, если она ходила на работу в колхоз, по 300 — детям и бабушке. Потомок рижского купца Боброва, Александра Никифорова — учитель русской словесности в рижской гимназии Лишиной, владевшая немецким и французским языками, прекрасно игравшая на рояле и писавшая стихи, отправилась в местную школу. И получила отказ — "врагов народа" можно использовать только на черновой работе. Хрупкая женщина, надев вельветовый плащ, берет и рижские калоши с тремя пуговками, каждое утро уходила на колхозное поле, откуда возвращалась уже в сумерках.

**Голодная зима**

Все более–менее ценные вещи, которые удалось вывезти Никифоровым, продали быстро. Котиковая шуба, демисезонное пальто — это горшок сливочного масла, немного картофеля и два ведра капусты. Ослабшие от голода, замерзшие, простуженные, покрытые вшами и чирьями, девочки Никифоровы вскоре перестали вставать с кровати. Они даже не плакали и не жаловались. Не было сил. В школу пошли только один раз — 7 ноября. И только потому, что всем детям была обещана тарелка пшенной каши. С каждым днем пальцы становились все тоньше, на месте бедер появились впадины. Бабушка практически не ела, отдавая свою скудную порцию внучкам. Через четыре дня после ноябрьского праздника Тамара проснулась от прикосновения к чему–то холодному.

"Это была уже остывшая, окоченевшая рука, и я вдруг поняла, что бабушки больше нет. Однако никаких чувств у меня в тот момент не возникло, какое–то жуткое безразличие овладело мною. Я разбудила маму, сказала: "Бабушка умерла", но и маму это существенно не тронуло: мы давно уже были морально подготовлены к мысли о том, что часы бабушки сочтены". Саму Тамару спас местный охотник–старообрядец. Увидев ребенка почти без признаков жизни, он ушел в лес и вскоре принес зайца. Еще теплого, только что пойманного. Вспорол зайцу живот, вылил его кровь в кружку и приказал выпить. Потом сунул черный хлеб с сырой печенкой. Тамара встала на ноги. А в конце ноября умерла Александра Ильинична. Девочки остались одни.

По словам Тамары Стахиевны, из 15 рижан, прибывших в Ершовку, выжили шестеро. В основном дети, которых после смерти мам и бабушек определили в детские дома, что и спасло их от голодной смерти. Взрослые погибли в первую же сибирскую зиму 1941–1942–го. Некоторые дотянули до весны. Ссыльные пытались собирать ягоды, грибы, ловили лягушек и насекомых. Местные жители, понимая, что спецпереселенцы вот–вот начнут умирать от голода, всеми силами пытались выселить их из своих изб. Врагов народа заселили в пустующую избу–читальню, где не было ни печки, ни дров, ни мебели.

"Мне никогда не забыть того кошмара, который удалось увидеть тогда, в конце весны 1942 года, — пишет Тамара Никифорова. — Двери избы оказались открытыми настежь. В абсолютно лишенной какой бы то ни было мебели серой избе от самых входных дверей до противоположной стены лежали в ряд, вытянувшись на спине, Казацкие Нина Николаевна и ее сын Коля, мама Бух с дочками Таней и Галей, Штольцер и еще какие–то люди, которых я не узнала. Все были страшно истощены, оборваны, на лицах только скулы торчат, глаза полузакрыты. Они почти не двигались, не говорили, лишь издавали какие–то звуки — не то стоны, не то вздохи, а то и просто выли. На мой приход никто из них не отреагировал. Мне стало страшно. Я выскочила из избы".

**Возвращение**

Вскоре сестер отправили в детский дом. А в июле 46–го года они вернулись на родину. "Вагон был загружен под завязку, — читаю в книге. — Ехало около 80, а может быть, и больше человек. Здесь были не только дети и подростки, но две или три пожилые женщины, потом приняли еще парализованную девушку, лежавшую на носилках. Все стремились домой, никто не роптал на судьбу. Когда вагон тронулся и стал набирать скорость, все собрались у открытых дверей, смотрели на уходящие луга и поля и… плакали. Плакали каждый о своем, о своих потерях, о пережитом и даже о том, что покидали землю, которую успели полюбить…"

Из многочисленных родственников, живших в Риге, заботу о девочках проявила только сестра отца — тетя Лида, поселив их в своей 14–метровой комнате в коммуналке. Остальные сухо здоровались и убегали, не предложив никакой помощи, не передав ценных подарков, которые для них оставила другая бабушка, Ксения, умершая незадолго до их возвращения. А потом — вечерняя школа, Горный институт в Ленинграде и… снова Сибирь. "Меня распределили в Иркутскую область, на Байкал, — рассказала Тамара Стахиевна во время презентации своей книги. — Это места декабристов, место расстрела Колчака, дивной красоты природа! Там начались поиски нефти и газа, а я была геологом–разведчиком". Кстати, Тамара Стахиевна нашла медь! Интересно, что место ее нахождения ей пришло во сне!

На отдыхе в Крыму Тамара знакомится с будущим мужем, который только что освободился из 12–летнего заключения. Молодые едут работать в Норильск, за Полярный круг. "На моих глазах закрывались лагеря, рушились колючие заграждения, и люди выходили на свободу. Местные власти, зная, что в лагерях было много уникальных специалистов, пытались их удержать, предлагая высокие зарплаты. Многие оставались. Согласились и мы. Думали, на 3–4 года, получилось на 34!" В Ригу доцент Тамара Никифорова, кандидат геолого–минералогических наук, окончательно вернулась только в 91–м году. **Первое, что сделала Тамара Стахиевна, — установила на фамильном участке Покровского кладбища памятник бабушке и родителям. Их могил она не нашла ни в Усольлаге, ни в Ершовке. Страшная деревня просто исчезла с лица земли…**



**Семейный памятник Никифоровых на Покровском кладбище в Риге. Из семейного архива Т. Ст. Никифоровой.**

[](http://www.russkije.lv/media/original/_/7.jpg) [](http://www.russkije.lv/media/original/_/8.jpg)

**Мама – Александра Ильинична и Папа – Стахий Дмитриевич – 1927 г.**

[](http://www.russkije.lv/media/original/_/21.jpg) 

**Бабушка – Мария Ивановна – 1938 г. Тамара – 1939 г.**



**Ира, Мама и Тамара - 1938 г.**



**Семья Бобровых, 1897 г.**

****

**Похороны Дмитрия Дмитриевича Никифорова, 1931 г.** (1865—1931г.г.), русский, православный, офицер, капитан артиллерии, участник русско-японской войны находился в окопах Манчжурии, откуда вернулся совершенно больным.